

Хроники  
Некрономикона



Мистические рисунки Виталия Ильина

# НАСТАВНИКИ ЛАВКРАФТА

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ХОРРОРА  
В ЛУЧШИХ ПЕРЕВОДАХ  
КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Хроники Некрономикона

Эдгар Аллан По

**Наставники Лавкрафта**

«Феникс»

УДК 82-312.9  
ББК 84(0)-445.1

## **По Э.**

Наставники Лавкрафта / Э. По — «Феникс», — (Хроники  
Некрономикона)

ISBN 978-5-222-40793-6

Не имеющий аналогов сборник – настоящий подарок для всех подлинных ценителей литературы ужасов. Г. Ф. Лавкрафт, создавая свои загадочные и пугающие миры, зачастую обращался к опыту и идеям других признанных мастеров «страшного рассказа». Он с удовольствием учился у других и никогда не скрывал имен своих учителей. Загадочный Артур Мейчен, пугающий Амброс Бирс, поэтический Элджернон Блэквуд... настоящие жемчужины жанра, многие из которых несправедливо забыты в наши дни. Российский литературовед и переводчик Андрей Танасейчук составил этот сборник, сопроводив бессмертные произведения подробными комментариями и анализом. Впрочем, с полным на то основанием можно сказать, что такая антология благословлена еще самим Лавкрафтом!

УДК 82-312.9  
ББК 84(0)-445.1

ISBN 978-5-222-40793-6

© По Э.  
© Феникс

## Содержание

Вместо предисловия	8
Амброз Бирс	13
Житель Каркосы	16
Видения ночи	19
Психологическое кораблекрушение	23
Обитель мертвецов	27
Случай на мосту через Совиный ручей	30
Средний палец правой ступни	36
Элджернон Блэквуд	42
Отрубленная кисть	44
Египетский шершень	54
Маленький бродяга	58
Натаниэль Готорн	62
Честолюбивый гость	64
Черная вуаль	70
Генри Джеймс	79
Поворот винта	81
Конец ознакомительного фрагмента.	94

# Наставники Лавкрафта: сборник рассказов

## Под ред. А. Б. Танасейчука



Иллюстрации Виталия Ильина



Переводчики: Р. А. Танасейчук, А. Б. Танасейчук, Е. Н. Муравьева, Р. В. Гурский, А. И. Агеев, А. В. Немирова, М. А. Таирова, М. А. Энгельгардт, Е. Д. Ильина, С. А. Лорие



© Оформление: ООО «Феникс», 2023

© Составление и статьи об авторах А.Б. Танасейчук

© Иллюстрации: Ильин В., 2023

© Перевод и комментарии: Танасейчук Р. А., Танасейчук А. Б., Муравьева Е. Н., Гурский Р. В., Агеев А. И., Немирова А. В., Таирова М. А.

© В оформлении обложки и титула использованы рисунки В. Ильина, а также И. Иванова и иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

## Вместо предисловия

В писательской среде разговоры о предшественниках, а тем более прямых учителях, не приветствуются: ценятся личные амбиции, творческая индивидуальность, самобытность и пр. Хотя, разумеется, не найти ни одного художника, у кого таких предшественников нет. Прямо или опосредованно, но у каждого «инженера человеческих душ» таковые обязательно присутствуют, даже если сам он нимало не подозревает об этом. В основе любого искусства – изящная словесность, конечно, не исключение – лежит преемственность: писатель осознанно или исподволь вбирает опыт предшественников, сознательно или нет учится у современников и тех, кто давно окончил земное существование. То, о чем мы говорим, – большая литературоведческая проблема. Ученые «ломают копья», пишут статьи, монографии, защищают диссертации о преемственности, о наставниках (явных и неявных) и наследниках классиков. В случае с Говардом Ф. Лавкрафтом эта проблема отсутствует. И неважно, что тому причиной – характер писателя, его литературная судьба, статус вечного дилетанта или нечто иное. Лавкрафт с удовольствием учился у других и никогда не скрывал имен своих учителей. Можно обратиться к биографиям писателя. Русскоязычному читателю в этом явно повезло: не нужно «перелопачивать» массу не всегда вразумительных и достойных прочтения текстов, в распоряжении лучшие книги – Спрэга де Кампа<sup>1</sup> и С.Т. Джоши<sup>2</sup>. Если владеете английским – можно почитать его письма, они доступны. Но их – тысячи! Лавкрафт предпочитал эпистолярный способ общения любому иному. Но проще взять в руки небольшую книгу писателя «Ужас и сверхъестественное в литературе» (*Supernatural Horror in Literature*, 1927, 1934) и убедиться в этом.

«Эссе» – так обычно определяют жанр этого произведения. Для этого есть основания. Прежде всего, стиль работы: легкий (но не легковесный!), популярный. И собственный, глупо оригинальный взгляд на явление. Но в то же время это серьезное исследование эволюции «страшного» жанра в мировой литературе – от истоков до современных автору 1930-х гг. Да и текст довольно объемный – больше сотни страниц.

В большой работе – десять разделов; каждый посвящен отдельному аспекту, который представляется Лавкрафту особенно важным. Начинает он с размышлений о природе страха. Можно соглашаться или не соглашаться с трактовкой автора, но первая фраза замечательна: «*В душе человека нет чувства сильнее страха и нет его древнее; природа страха разнообразна, но самый древний и самый сильный страх – это страх перед неведомым*», – она сразу погружает читателя в тему. Затем Лавкрафт обращается к искусству и литературе – сначала к мифологии и Ветхому Завету, очень бегло к ранним – средневековым и ренессансным – сюжетам, наконец к готическому роману, которому посвящает три раздела. Отчетливо видно: автор прекрасно осведомлен о предмете, знает и любит этот жанр; демонстрирует и те связи, что тянутся от Горацио Уолпола, Анны Редклифф, М.Г. Льюиса, Ч. Брауна и других к литературе XIX века. Считать ли упомянутых писателей его учителями? Конечно. Но прямыми – едва ли. Куда важнее связи «готики», которые обнаруживает и демонстрирует Лавкрафт, с романтическим романом, прежде всего английским: В. Скотта, Э. Бульвер-Литтона, Мэри Шелли, Эмили Бронте.

Но жанр романа все-таки чужд автору «Ужаса в литературе». Его «вотчина» – короткая проза: рассказ, новелла. Этот жанр он знает досконально. Специальный раздел (под заглавием «Мифические создания в континентальной литературе») посвящает европейской романтической новелле, ее мастерам – прежде всего Э.Т.А. Гофману, Ф. де ла Мотт Фуке, Г. Эверсу, Теофилю Готье, В. де Лиль-Адану. Не обходит вниманием и такие малоизвестные, но, по мнению Лавкрафта, заслуживающие самого пристального внимания любителей жанра фигуры, как

---

<sup>1</sup> Лавкрафт: биография / Л. Спрэг де Камп; пер. с англ. Д. В. Попов. СПб.: Амфора, 2008.

<sup>2</sup> Лавкрафт. Я-провиденс / С. Т. Джоши; пер. с англ. М. Стрепетовой. М.: Эксмо, Fanzon, 2022.

немец В. Мейнхольд и француз М. Левель. Учился ли у них писатель? Безусловно. Поскольку он их читал, и читал внимательно, а следовательно – поместил в свою литературную «копилку».

Но главный его учитель – конечно, Эдгар По. В своей книге Лавкрафт посвящает художнику специальный раздел, озаглавленный просто, без затей: «Эдгар Аллан По». И это неслучайно: изыскания американского романтика в области теории и практики жанра – не просто важная, а главная веха в эволюции «страшного рассказа». «В тридцатые годы XIX столетия мы наблюдаем литературный расцвет, прямо повлиявший не только на историю “потустороннего” рассказа, но и на жанр краткой прозы целиком, – утверждает Лавкрафт. – Зрелому и мыслящему критику трудно отрицать огромную ценность его работ и поразительную мощь его разума, сделавшего По первооткрывателем новых творческих просторов. <...> Именно он первым осознал их потенциал и придал им отточенную форму и систематическое выражение. По сделал то, что до него не удавалось никому... только ему мы обязаны современной литературой ужасов в ее окончательной и совершенной форме»<sup>3</sup>. Более того, «поэт и критик по натуре и высшему призванию, логик и философ по склонности и стилю», он «создал рассказ в его современном виде», причем его «рассказы обладают почти абсолютным совершенством художественной формы, что делает их подлинными маяками в жанре короткой прозы». Оценки эти говорят о значении наследия великого американца для Лавкрафта и для становления таланта писателя. «Падение дома Ашеров», «Маска Красной смерти», «Метценгерштейн» – эти новеллы Э. По его ученик считал шедеврами, и мы не могли не включить их в сборник.

Следующая фигура – Натаниэль Готорн. «Гений из Провиденса» не мог не любить его истории и не испытать его влияния. Создатель «новоанглийского нуара» был близок Лавкрафту своим происхождением (Новая Англия): «У него нежная душа – зажата в тиски пуританства ранней Новой Англии; затуманенная и тоскующая; опечаленная аморальной вселенной и всюду сеющая семена ограниченных мыслей наших предков, прославлявших святой и неизменный закон». Восприятием inferнального Зла: «Зло, будучи очень реальной силой для Готорна, всегда появляется как коварный и стремящийся к победе соперник; а видимый мир становится в его воображении сценой нескончаемой трагедии и скорби, где участвуют невидимые и полуреальные сущности, борющиеся за власть и влияющие на жизнь несчастных смертных, которые составляют суетное, погрязшее в самообмане человечество». И, безусловно, звучащим как рефрен мотивом родового проклятия – таким близким и постоянно повторяющимся у Лавкрафта.

Любимым текстом Готорна у писателя был роман «Дом о семи фронтонах» («знаменитый и сильно написанный – самый законченный и целостный в череде произведений о сверхъестественном»), но он отдавал должное и его рассказам, прежде всего, конечно, фантастическим и страшным, из которых выделял истории «Черная вуаль» и «Честолюбивый гость», помещенные в настоящий сборник.

Готорн «не оставил явно обозначенных литературных последователей», – утверждал Лавкрафт и был прав: во всяком случае, применительно к своему поколению. И сам не был его последователем, потому что «сверхъестественный ужас никогда не являлся главным объектом для Готорна, однако он всем своим существом его чувствовал и не мог не живописать со всей силой своей гениальности».

Среди любимых авторов Лавкрафта находим Фитц-Джеймса О'Брайена, в котором он видел прежде всего талантливого последователя Эдгара А. По. Скорее всего, «затворник из Провиденса» познакомился с его рассказами на страницах журналов *Weird Tales* и *Amazing Stories*, в которых публиковался сам и которые в 1920–30-е гг. открыли множество забытых имен американской фантастики. Вероятно, и истории, его восхитившие – «Что это было?»

---

<sup>3</sup> Здесь и далее по тексту статьи цитируется: Лавкрафт, Говард. Ужас и сверхъестественное в литературе / пер. с англ. А. Сергеевой, Т. Зименковой // Черный человек: американская готика. XX век. М.: АСТ, 2003. С. 485–571.

и «Бриллиантовая линза», – он впервые прочитал именно там. «Ранняя смерть О'Брайена лишила нас многих интереснейших рассказов о страшном и ужасном», – отмечал Лавкрафт; скорее всего, большинство рассказов талантливого писателя были ему неизвестны.

Зато он был отлично знаком с историями Амброза Бирса, который уже тогда, в 1920-е, обладал статусом классика национальной литературы. Хотя автор «Сверхъестественного ужаса» и полагал, что Бирс – писатель «неровный», это совсем не мешало читать и изучать его тексты, вдохновляться образами старшего современника. Более того, можно утверждать, что именно Бирс (разумеется, наряду с Эдгаром По) в наибольшей степени повлиял на становление собственного художественного мира Лавкрафта. Во всяком случае, если речь пойдет об истоках его «ориентализма», то неизбежно вспомнится, что «Каркоса», «мудрец Хали», «озеро Хас-нур» (образы, переосмысленные и ставшие частью вселенной Лавкрафта) впервые появились именно в новеллах Бирса. Да и сюжеты других «страшных» историй, совершенно лишенных восточного колорита, явно его увлекали. Некоторые из них – «Смерть Хэлпина Фрейзера», «Обитель мертвецов», «Средний палец правой ступни» – он довольно подробно пересказывает в своей книге, еще о нескольких упоминает. Приводит и суждения ученых-литературоведов о нескольких текстах. Это вполне красноречиво говорит, что создатель «Ужаса» изучал наследие мастера, размышлял над его сюжетами. Удивляет то, что Лавкрафт не взял на вооружение поразительную находку Бирса – его знаменитую «концовку-ловушку» (или «сверхразвязку»). Судя по всему, посчитал коммерческой уловкой писателя, публиковавшего рассказы на страницах массовых газет и журналов. Мы не можем согласиться с таким взыскательным судьей и, наряду с упоминаемыми текстами, не включить в сборник главный шедевр Бирса – рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей». «Сверхразвязка» – важнейший элемент его композиции.

В отличие от сюжетов Бирса, сочинения другого американского классика – Генри Джеймса – Лавкрафту не нравились. Он находил их излишне многословными, «слишком нежными» и даже «помпезными». За единственным исключением – повесть «Поворот винта», которую полагал шедевром. «В “Повороте винта”, – утверждал Лавкрафт, – Генри Джеймс создает по-настоящему достоверное ощущение страшной угрозы, рассказывая о двух мертвых слугах, Питере Квинте и гувернантке мисс Джессел, и их зловещей власти над маленькими мальчиком и девочкой, когда-то отданными под их опеку. <...> Здесь присутствует редкая по своей силе постоянно растущая волна страха, и это гарантирует повести особое место в жанре».

Из старших современников-американцев еще по крайней мере двое привлекали особое внимание Лавкрафта. Это Фрэнсис Мэрион Кроуфорд и Роберт Чемберс.

Первый к 1930-м годам был совершенно забыт, но сборник его страшных историй под названием «Блуждающие призраки» (Wandering Ghosts), изданный в 1911 году, вскоре после смерти автора, явно принадлежал к числу любимых книг будущего создателя миров Ктулху – книг, что он читал и перечитывал. О каждом из рассказов сборника он отзывался с восхищением, а новеллу «Верхняя полка» полагал «шедевром в жанре сверхъестественного», «одним из самых потрясающих “страшных” рассказов в литературе вообще».

«Очень искренние, хотя и не без привычной для девяностых годов XIX века манерной экстравагантности, ранние сочинения в жанре ужаса Роберта У. Чемберса получили известность вследствие особого подхода, – читаем у Лавкрафта в “Сверхъестественном ужасе”. – “Король в желтом” – серия почти не связанных между собой рассказов, представляющая собой некую чудовищную запретную книгу, внимательное прочтение которой влечет за собой страх, безумие, потустороннюю тоску. В этой серии автор достигает высот поистине космического ужаса...»

В годы, когда обитатель Провиденса писал свою книгу, Чемберс давно переключился на развлекательные романы; Лавкрафт пеняет ему за это и сожалеет об «измене» жанру. Но это не мешает ему восхищаться ранними вещами автора. Кстати, обращает он внимание и

на заимствования у Бирса. Похоже на то, что «ориентализм» Лавкрафта зарождался именно таким образом: через Чемберса к Амброзу Бирсу, и уже потом – к собственным сюжетам.

Безусловный интерес в русле размышлений об учителях «творца Ктулху» представляет и предпоследний, девятый раздел «Сверхъестественного ужаса», озаглавленный «Традиции сверхъестественной литературы на Британских островах». Лавкрафт не просто хорошо, а досконально знает творчество тех, о ком пишет. Но среди множества имен автора настоящих строк прежде всего привлекли слова, сказанные о Лафкадио Хирне: «Лафкадио Хирн – странный, мечущийся, экзотичный – уходит еще дальше от царства действительности и с великолепным искусством чуткого поэта плетет вымыслы, невозможные для автора, привязанного к реальности и мирским удовольствиям. В его “Фантазиях”, написанных в Америке, присутствуют самые впечатляющие вампиры, коих ни у кого больше не встретишь; тогда как его “Кайдан”, созданный в Японии, с беспримерным мастерством и утонченностью запечатлевает волшебные легенды и сказки этой удивительно богатой красками страны». Можно предполагать, что «колдовской язык» Хирна повлиял и на стиль Лавкрафта. Впрочем, это только предположение, но мимо рассказов «американского японца», так очаровавших такого взыскательного читателя, пройти, конечно, невозможно.

Разговор о вероятных учителях и наставниках Лавкрафта нельзя завершить, не обратившись к суждениям о современных ему авторах. Да и раздел, им посвященный, – самый большой в неоднократно упоминавшейся книге о «страшной» литературе. В первой трети XX века «страшная» фантастика, подхватив эстафету от романтиков и викторианцев-неоромантиков, переживает очевидный расцвет. Причин тому много. Здесь и бурное развитие газетно-журнальной литературы, и фантастический прирост читательской аудитории, и (увы, не в последнюю очередь!) снижение общего интеллектуального уровня читателей.

Разумеется, поставщики невзыскательного чтения в орбиту внимания Лавкрафта не попадают. Он прилежный и искушенный читатель, его интересуют самые достойные образцы жанра. Он заявляет: «Лучшие рассказы нашего времени в жанре литературы ужасов, унаследовав все ценное из довольно долго эволюционировавшего жанра, обладают естественностью, убедительностью, высокими художественными качествами, оставляющими далеко позади что-либо написанное в готическом жанре век или более назад». Лавкрафт отмечает, что «за прошедшее время резко возросли техника, мастерство, опыт, познания в психологии», а «большинство давних работ кажутся наивными и претенциозными, что компенсируется лишь талантом, выходящим за рамки любых ограничений». Современные «повествования о небылицах, изложенные бойким и напыщенным стилем, с ложной мотивацией, когда чуть ли не каждый эпизод фальшив и псевдоромантичен, отошли к более легкому и забавному виду литературы о сверхъестественном» и оказались на «обочине» жанра.

Поэтому Лавкрафт игнорирует массу современных ему авторов, за исключением совсем немногих фигур – прежде всего, А. Мейчена, Э. Блэквуда и М. Р. Джеймса. Менее расположен он к Блэквуду, главными недостатками которого считает «многословность и путаность», склонность к морализаторству и излишне бойкий журналистский стиль; но отмечает, что главные его произведения (прежде всего фантастические новеллы) «достигают классического уровня и пробуждают, как никакие другие, убедительное чувство необъятности загадочных миров и многообразия населяющих существ». Куда больший пиетет испытывает Г. Ф. Лавкрафт к М. Р. Джеймсу, который, по его словам, «одарен почти дьявольской силой вызывать ужас». Но самую высокую оценку, можно сказать – «пальму первенства» в жанре, он дает А. Мейчену. «Из ныне живущих создателей космического ужаса, вознесенного на высочайшую художественную вершину, – утверждает он, – едва ли кто-то может соперничать с Артуром Мейченом», – и посвящает много страниц рассказу о его произведениях, объясняя, как мастер достигает нужного ему эффекта.

Одна из последних фраз сочинения Лавкрафта звучит так: «У нас нет причин полагать, что положение жанра ужаса в художественной литературе как-то изменится. Это узкий, но важный путь человеческого самовыражения, и потому он, как и всегда, будет востребован...» Эти слова написаны без малого сто лет назад, но, видимо, справедливы. Во всяком случае, книга, которую держит в руках читатель, – тому красноречивое подтверждение. Тем более что тексты для нее, по сути, выбраны самим Мастером.

*А. Б. Танасейчук*

## Амброз Бирс



«Бирса надо знать. Его творчество – один из основных этапов развития “страшного” жанра в американской литературе», – писал еще 1930-е годы И.А. Кашкин, один из наиболее авторитетных в нашей стране американистов. Однако знать Бирса совсем непросто. Легенды и домыслы – постоянные и неизбежные спутники американского писателя. Их создавали современники, формировал он сам, с огромным удовольствием придумывали потомки, публикуя статьи, очерки, монографии, сочиняя романы и снимая фильмы – сначала по его произведениям, а затем и о нем самом. Современникам он казался неким анахронизмом, помещенным в условия Соединенных Штатов Америки рубежа XIX–XX вв. Причина заключалась не только в стойком пристрастии к мотивам смерти, мертвецам и духам, привидениям и т. д., но и в эстетике художника, тяготевшего к романтической традиции. Способствовало росту легенд и его таинственное исчезновение на рубеже 1913–14 гг. в охваченной Гражданской войной Мексике, куда он отправился корреспондентом.

Амброз Гвиннет Бирс родился в 1842 году в штате Огайо в семье фермера. Его мать была дочерью священника, отец владел изрядной по тем временам библиотекой, любил Байрона и был знатоком Шекспира. Будущий писатель был поздним и последним ребенком в семье. Отец и мать были пуританами, и в этом факте скрыто многое. От них писатель унаследовал моральный ригоризм, бескомпромиссность суждений и поступков. Бирс не получил серьезного формального образования. Четыре года в местной школе, семестр в военном училище, куда его устроил дядя, – вот все его «университеты».

Гражданская война Севера и Юга перевернула судьбу молодого человека. Будущий писатель добровольно стал солдатом армии северян. До конца дней Бирс считал военную службу своим настоящим призванием. Он был образцовым солдатом: смелым, дисциплинированным и в то же время инициативным. За годы войны он сделал блестящую карьеру, пройдя путь от рядового до капитана, начальника военно-топографической службы дивизии. Он был неоднократно ранен, и один раз очень тяжело – осколком снаряда в голову. После окончания войны Бирс ушел из армии. Решение оставить службу он принял в Сан-Франциско, куда попал в составе военно-топографической экспедиции. С 1866 года на тридцать с лишним лет Сан-Франциско и Калифорния становятся постоянным местом его жительства. Здесь началась его литературная деятельность. Бирс начинал как журналист. Подобно Ф. Брет Гарту и М. Твену, он начинал с юмористики. Закономерность этого процесса очевидна, если учитывать параметры и характер культивируемой на Дальнем Западе «необузданной журналистики».

Особой страницей в творческой биографии писателя стал «британский» опыт. Бирс провёл в Англии четыре года (1872–1875), там он сложился как юморист и сатирик, там следует искать истоки его пристального интереса к европейским литературным традициям; наконец, там вышли его первые книги. Расцвет литературной деятельности А. Бирса пришелся на конец 1880-х – 1890-е гг. Если до той поры он публиковал по одной, редко по две новеллы в год, то в указанный период его творческая энергия поражает – он пишет рассказы, очерки, философские эссе и статьи, активно работает как сатирик. В этот период появляются его главные книги: «Рассказы военных и штатских» (1891), повести «Монах и дочь палача» (1892) и «Возможно ли это?» (1893). На этих книгах в основном и зиждется репутация Бирса как автора «страшной» прозы.

«Страшный» рассказ или «новелла с привидениями» – вероятно, наиболее органичный, традиционный и в то же время наиболее многоликий жанр в творческом наследии художника. Бирс писал новеллы подобного рода более тридцати лет (первая, «Долина призраков», датирована 1871 годом, последняя – «Чужой» – 1909 г.). Строго говоря, многие из них и не являются «страшными» в чистом виде, скорее их следует числить по ведомству фантастической прозы. К тому же поэтика «ужасного» в новеллах писателя вполне органично сочеталась, например, с той же военной тематикой, нередко включала элементы юмора и сатиры.

Весьма привлекательно объяснить приверженность писателя к оккультному и сверхъестественному традициями региональной литературы. Беллетристика подобного рода действительно была широко распространена в Калифорнии в 1870–1890-е гг. Но, кроме вполне естественной (особенно на раннем этапе творчества) зависимости от местных литературных стереотипов, Бирс сознательно ориентировался на романтическую традицию – как европейскую, так и национальную. Особую роль в его творческом развитии сыгран Эдгар Аллан По, его рассказы, его эстетическая теория. От великого американского романтика идет приверженность Бирса к категориям сверхъестественного и таинственного, да и само предпочтение жанра новеллы иным литературным жанрам имело тот же источник. Бирс не скрывал, что считает себя учеником и последователем Э. По. Развивая жанр «страшной» новеллы, он продолжил эксперименты своего учителя в области эмоционального воздействия художественного слова – и надо сказать, превзошел его в этом нелегком искусстве, создав новеллу с особым композиционным построением, включающим так называемую двойную развязку, или «концовку-ловушку».

Как бы велико ни было значение Э. По для Бирса, не следует забывать, что их все-таки разделяло полвека. Уже в силу данного обстоятельства на одни и те же вещи они не могли смотреть одинаково. Американский романтик немало страниц посвятил смерти и феномену страха смерти. Для Бирса смерть стала главной и, по сути, единственной темой новеллистического творчества. Но если для «безумного» Эдгара смерть была неким таинством, явлением умозрительным и метафизическим, продуктом воображения и изощенного ума, то для Бирса – участника Гражданской войны Севера и Юга и освоения Дальнего Запада – смерть была лишена таинственного ореола, она была обыденностью – жестокой и, к сожалению, неизбежной. «Смерть можно только ненавидеть, – такие слова мы найдем в одной из его новелл. – В ней нет ни живописности, ни мягкости, ни торжественности – мрачная штука, отвратительная, с какой стороны ни посмотри».

*А. Б. Танасейчук*

## Житель Каркосы

«Ведомо: существуют разные виды смерти; есть такие, при которых тело остается видимым, и такие, когда оно исчезает без следа вместе с отлетевшей душой. Последнее обычно скрыто от людских глаз (ибо такова воля Господня!), и тогда, не будучи очевидцами кончины человека, мы говорим, что человек пропал или отправился в дальний путь – так оно и есть. Но иной раз, и тому свидетельств немало, исчезновение происходит на глазах у многих. Есть и еще один род смерти: когда умирает душа, а тело переживает ее на долгие-долгие годы. Достоверно установлено и то, что иногда душа умирает одновременно с телом, но спустя некий срок появляется на земле вновь – обязательно там, где погребено тело».

Я размышлял над словами Хали<sup>4</sup> (упокой, Всевышний, его душу!) и пытался до конца постичь их значение как человек, который, уловив смысл сказанного, спрашивает себя, нет ли в нем иного, тайного смысла.

Погруженный в эти мысли, я не замечал, куда бреду, но внезапно порыв холодного ветра хлестнул мне в лицо и вернул к действительности. Оглянувшись кругом, я с удивлением заметил, что нахожусь в месте, совершенно мне не знакомом. Вокруг простиралась открытая безлюдная равнина, поросшая высокой, некошеной сухой травой, которая шуршала и вздыхала под осенним ветром. Что-то тревожное и таинственное было в этих вздохах – во всяком случае, так я это воспринимал. На расстоянии друг от друга высились темные каменные громады с причудливыми очертаниями. Казалось, между ними существует некая тайная связь – словно они, обмениваясь многозначительными и зловещими взглядами, напряженно замерли в ожидании некоего неизбежного и долгожданного события. По сторонам мрачными скелетами торчали иссохшие деревья, будто притаившиеся предводители злобных заговорщиков.

Похоже, время перевалило далеко за полдень, но солнца не было. Я понимал, что воздух вокруг меня сырой и промозглый, но ощущение это шло от ума, а не от органов чувств – ни влаги, ни холода я не ощущал. Над унылым пейзажем, словно проклятие, нависали низкие свинцовые тучи. Все кругом дышало угрозой, там и тут виделись мне недобрые предзнаменования и вестники злодеяния, приметы обреченности. Ни птиц, ни зверей, ни жуков, ни мошек – ничего живого. Ветер ныл в голых сучьях мертвых деревьев; серая трава, припав к земле, шептала ей свои страшные тайны. Но больше ни один звук, ни одно движение не нарушали мрачного покоя безотрадного пейзажа.

Я видел среди травы множество разрушенных непогодой рукотворных камней. Они растрескались, поросли мхом, наполовину ушли в землю. Некоторые лежали плашмя, другие торчали в стороны, но ни один не стоял прямо. Это были надгробья, но самих могил давно не существовало: от них не осталось ни холмиков, ни впадин – все сровняло время. Где-то чернели каменные глыбы покрупнее – видимо, некогда там была могила, честолюбивый обитатель которой в свое время бросил тщетный вызов забвению. Эти развалины казались очень древними, а следы людского тщеславия, знаки привязанности и благочестия – истертыми, разбитыми и грязными. И вся эта местность была такой пустынной, заброшенной, всеми позабытой, что я невольно представил себя первооткрывателем доисторического захоронения народа, имени которого не сохранилось.

Погруженный в эти мысли, я совсем забыл обо всех предшествующих событиях и вдруг подумал: «А как я попал сюда?»

После недолгих раздумий я нашел разгадку (весьма меня удручившую) той таинственности, в которую моя фантазия облекла все видимое и слышимое. Я был болен, очень болен. Я вспомнил, как мучила меня жестокая лихорадка и как, по словам моей семьи, в бреду я

---

<sup>4</sup> Вымышленный мистик-философ, созданный воображением автора (здесь и далее по книге прим. переводчика).

беспреданно требовал свободы и свежего воздуха. Родные силой удерживали меня в постели, не давая убежать из дому. Но все-таки я сумел обмануть бдительность врачей и близких – и теперь очутился... Но где же? Мне это было неведомо. Однако было ясно, что зашел я довольно далеко от родного города – древнего и славного города Каркосы.

Ничто не говорило о присутствии здесь людей: не видно было дымов, не слышно ни собачьего лая, ни мычания коров, ни криков играющих детей – ничего, кроме кладбища, окутанного тоской, тайнами и ужасом, созданными моим собственным больным воображением. Неужели снова начинается горячка и никто не придет мне на помощь? А не порождение ли безумия все, что я вижу кругом? Я закричал, стал звать жену и детей, искал их невидимые руки, пробираясь среди обломков камней по иссохшей, мертвой траве.

Шум позади заставил меня остановиться и обернуться. Ко мне приближался хищный зверь – это была пума.

«Если свалюсь в лихорадке здесь, в этой пустыне, – зверь меня растерзает!» – пронеслось у меня в голове.

Я бросился на нее с громкими воплями. Но животное невозмутимо пробежало мимо на расстоянии вытянутой руки и скрылось за одной из каменных плит. Минуту спустя невдалеке как из-под земли появилась голова человека – он поднимался по склону небольшого холма, вершина которого едва возвышалась над окружающей равниной. Вскоре вся его фигура выросла на фоне серого неба. Полуобнаженное тело прикрывала одежда из шкур. Нечесанные волосы свисали космами, длинная борода свалывалась. В одной руке он держал лук и стрелы, в другой нес пылающий факел, за которым тянулся хвост черного дыма. Человек ступал медленно и осторожно, словно боясь провалиться в могилу под высокой травой.

Видение было странным. Оно удивило, но не испугало меня, поэтому, направившись ему наперерез, я поприветствовал его:

– Да хранит тебя Всевышний!

Но он продолжал свой путь, не замедляя шагов, – будто и не слышал меня.

– Добрый незнакомец, – продолжал я, – я заблудился, я болен. Прошу тебя, покажи мне дорогу на Каркосу.

Человек прошел мимо. А затем, удаляясь, вдруг загорланил дикую песню – слова мне были непонятны, язык неизвестен. С ветки мертвого дерева злое прокричала сова, в отдалении откликнулась другая. Поглядев на небо, я увидел в разрыве облаков Альдебаран и Гиады<sup>5</sup>. Все говорило о том, что наступила ночь: дикая кошка, человек с факелом, сова. Однако я видел их совершенно отчетливо, как днем, я видел даже звезды, хотя вокруг не было ночного мрака! Да, я все видел, но меня не видел и не слышал никто! Что же за ужасные чары меня околдовали?

Я присел у корней высокого дерева и решил обдумать свое положение. Теперь я понял, что безумен, но все же в этом убеждении оставалось место для сомнения. Я не ощущал никаких признаков лихорадки. Напротив – испытывал неведомый прежде прилив сил и энергии, некое духовное и физическое возбуждение. Все чувства мои были необычайно обострены: я ощущал плотность воздуха, я слышал тишину.

Обнаженные корни могучего дерева, к стволу которого я прислонился, сжимали в объятьях гранитную плиту; одним концом она уходила под дерево. Таким образом плита была защищена от дождей и ветров, но тем не менее изрядно пострадала. Грани ее стерлись, углы были отбиты, поверхность избороздили глубокие трещины и каверны. Подле плиты на земле блестели чешуйки слюды – следы разрушения. Когда-то плита покрывала могилу, из которой много веков назад проросло дерево. Жадные корни давно опустошили захоронение, а плиту взяли в плен.

---

<sup>5</sup> Альдебаран – самая яркая звезда в созвездии Тельца; Гиады – звездное скопление в этом созвездии.

Внезапный порыв ветра сдул с нее сухие листья и ветки. Я увидел выпуклую надпись и наклонился, чтобы прочитать ее. Боже правый! Мое имя! Дата моего рождения! И дата моей смерти!

Пурпурный луч восходящего солнца упал на ствол дерева в момент, когда я, охваченный ужасом, вскочил на ноги. На востоке из-за горизонта поднималось солнце. Я стоял между деревом и огромным багровым солнечным диском... На стволе не было моей тени!

Унылый волчий вой встречал утреннюю зарю. Волки сидели на могильных холмах и курганах поодиночке и небольшими стаями; до самого горизонта – повсюду – я видел волков. И тут я понял, что стою на развалинах древнего и славного города Каркосы!

Все это поведал дух некогда почившего Хосейба Аллара Робардина медиуму Бейролесу.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Видения ночи

Уверен, что способность людей видеть сны составляет огромную ценность для литературы. Если бы современное искусство было в состоянии улавливать фантазии, возникающие во снах, описывать их и воплощать, тогда наша литература воистину стала бы выдающейся. Прирученный, этот дар можно было бы развить, – подобно тому, как животные, одомашненные человеком, обретают лучшие качества, чуждые их диким собратьям. Овладев сновидениями, мы удвоим собственное рабочее время и научимся плодотворно трудиться, когда спим. Вспомним строки из поэмы «Кубла-Хан»<sup>6</sup>: «Чертог снов – реальности приток».

Что есть сон? Произвольная и необузданная совокупность воспоминаний – беспорядочная вереница образов, воспринятая однажды бодрствующим сознанием. Это хаотическое воскрешение мертвецов – древних и современных, добрых и злых. Они восстают из своих полуразрушенных гробниц, и каждый предстает в своем обыденном обличье. Они спешат вперед, толкаясь и толпясь, чтобы побыстрее предстать пред тем, кто их созвал на Пир. Но он ли их призвал? Нет, не он, – нет у него такой власти. Он от нее отрекся и подчинился чужой воле. Он мертв, и вместе с призраками ему не подняться. Рассудок его покинул, а вместе с ним утрачена и способность удивляться. Чудовищное, неестественное, нелепое – все это просто, правильно и разумно. Смешное не забавляет, невозможное не способно удивить. Сновидец – вот кто истинный поэт, «кипит его воображенье».

Воображение – это просто память. Попробуйте представить то, чего вы никогда не видели, не испытали, не слышали или не читали. Или представьте себе живое существо, лишенное, например, тела, головы, конечностей или хвоста, – это примерно то же самое, что дом без стен и крыши. Бодрствуя, мы распоряжаемся собственной волей и суждениями, мы можем их контролировать и ими управлять, можем извлекать из хранилищ памяти то, что хотим, и исключать – порой, правда, с трудом – то, что не соответствует нашей цели. Но, когда мы спим, нами управляют наши фантазии. Они хаотичны, причудливо перемешаны, элементы их переплетены – настолько, что кажутся нам чем-то совершенно новым, но на самом деле хорошо нам известны.

Сны не несут нашему воображению ничего нового, кроме новых сочетаний уже известного. То, «из чего сделаны сновидения», аккумулялировали наши собственные чувства и сохранили в памяти, – примерно так, как белки собирают впрок орехи. Но по крайней мере одно из человеческих чувств ничего не вносит в мир сновидений – это обоняние. Запах никогда не снится. Зрение, осязание, слух и, вероятно, вкус – все они задействованы в создании наших ночных видений. Но у снов нет носа. Удивительно, как древние поэты, эти проникательные наблюдатели, не обратили внимания на данную особенность бога сновидений. Как, впрочем, и их послушные слуги – древние скульпторы. Возможно, конечно, что последние – достойные всяческих похвал! – трудясь для потомков, рассудили, что время и невзгоды обязательно внесут коррективы и приведут все к общему знаменателю – в соответствии с естеством природы.

Способен ли кто-нибудь связать хаос сновидения в единое целое? Нет. Ни один поэт не обладает столь искусным даром. Попробуйте описать мелодию Эоловой арфы. Существует род зануд (он хорошо известен), которые, прочитав рассказ, сочиненный подлинным мастером слова, по доброте душевной пытаются – разумеется, для вашего назидания и восхищения – подробно изложить его сюжет собственными словами, полагая, что теперь читать вам его не придется. «При схожих обстоятельствах и условиях» (как гласит международное право) меня, тем не менее, не удастся обвинить в упомянутом преступлении, хотя я и намерен изложить здесь сюжеты некоторых собственных сновидений. Не удастся прежде всего потому, что снови-

---

<sup>6</sup> «Кубла Хан, или Видение во сне» – поэма английского романтика Сэмюэла Тейлора Кольриджа.

дения мои незнакомы читателю – следовательно, известные «обстоятельства и условия» в данном случае не работают. Стремясь зафиксировать их малую толику, на успех я вовсе не рассчитываю. Слишком мало у меня наберется соли, чтобы сыпать ее на хвост неуловимому Морфею.

\* \* \*

Я шел в сумерках по огромному лесу. Вокруг теснились деревья неведомых пород. Куда и откуда шел, мне было не известно, но подспудно ощущалась необъятность этого леса и было знание, что я здесь единственное живое существо. Я был одержим каким-то ужасным проклятием за давнее преступление и теперь, перед рассветом, искупление должно свершиться.

Машинально, безо всякой цели, я шел под ветвями гигантских деревьев по узкой тропинке. В конце концов я подошел к ручью. Темный, медлительный поток пересекал мой путь. Это текла кровь. Повернув направо, я пошел вверх по течению и вскоре оказался на небольшой лесной поляне. Она была окутана тусклым, призрачным светом; в центре располагался отверстый колодец из белого мрамора. Кровь плескалась у краев; ручей, вдоль которого я шел, вытекал из него. Все пространство вокруг колодца, радиусом примерно в десять футов<sup>7</sup>, было заполнено трупами. Их было множество. Я не считал, но знал, что количество тел важно и имеет непосредственное отношение к моему преступлению. Быть может, они отмечали время в веках – с тех самых пор, как я его совершил. Я понимал важность их числа и знал его, – пересчитывать необходимости не было. Тела были полностью обнажены и располагались симметрично вокруг колодца, расходясь от него в стороны, словно спицы колеса. Лежали они все одинаково – ногами от колодца, головами к нему, и головы свисали внутрь через его края. Все тела лежали на спине, с перерезанным горлом, и кровь медленно сочилась из открытых ран. На все это я взирал с равнодушием и знал, что это естественное и неизбежное следствие моего преступления. Но было нечто наполнявшее все мое существо тревогой и даже ужасом: всеобъемлющая, чудовищная пульсация – медленная, равномерная, неизбежная. Я не знаю, каким из чувств я ее воспринимал, каким неведомым путем она прокралась в мое сознание. Но безжалостная неотвратимость гигантского ритма охватывала все кругом и сводила меня с ума. Ему был подчинен и окружающий лес, исполненный безграничной и непримиримой злобы.

Ничего больше из этого сна я не помню. Похоже, охваченный ужасом, который, судя по всему, был вызван затруднением кровообращения, я вскрикнул – и проснулся от звука собственного голоса.

\* \* \*

Сновидение, сюжет которого я собираюсь изложить далее, восходит к годам ранней юности – тогда мне было не больше шестнадцати. Сейчас я, конечно, гораздо старше, но помню его так ярко и живо, словно не прошло стольких лет с тех пор, когда видение это заставило меня, шестнадцатилетнего, дрожать, съежившись от страха под одеялом.

Я один, и ночь без конца и без края (в своих снах я всегда одинок, и события всегда разворачиваются ночью). Итак, ночь, нигде не видно ни деревьев, ни человеческого жилища, нет ни холмов, ни ручьев. Вся земля покрыта клочками скудной, грубой растительности – черной и жесткой; как всполохи огня, они возникают то тут, то там. Столь же беспорядочно мой путь постоянно преграждают небольшие лужицы, – они скапливаются в мелких впадинах и появляются тоже внезапно. Они теснятся со всех сторон, то исчезая, то появляясь вновь, а над ними проплывают тяжелые темные тучи, и в блестящей черной воде отражается холодный

---

<sup>7</sup> Около трех метров.

свет звезд на ночном небе. Путь мой лежал на запад – там, низко над горизонтом, под длинной грядой облаков пылало багряное зарево. Оно создавало впечатление непостижимой дали – такое с тех самых пор я научился подмечать на полотнах Доре<sup>8</sup>, где каждое прикосновение руки мастера живописует знамение и проклятие. Продолжая свой путь, вскоре я разглядел на этом зловещем фоне силуэты зубчатых стен и башен. Они увеличивались в размерах с каждой пройденной мною милей, пока наконец не выросли до совершенно немислимых размеров – хотя строение, которому они принадлежали, я все еще не мог разглядеть полностью. Мне даже казалось, что оно вовсе не приблизилось. Отчаянно и упорно я продвигался по бесплодной равнине, а гигантское сооружение все увеличивалось и увеличивалось в размерах – до тех пор, пока я уже не мог охватить его взглядом, а затем башни заслонили звезды над моей головой. Потом я прошел между колонн циклопической кладки, в которой каждый камень был больше, чем мой отчий дом, и вошел в распахнутые ворота.

Внутри было пыльно и пусто, на всем лежала печать небрежения. Тусклый свет – в сновидениях он существует сам по себе, не подчиняясь законам природы, – вел меня из коридора в коридор, из комнаты в комнату, и все двери распахивались от прикосновения моей руки. Комнаты были огромны. Коридоры оказались еще больше – я так и не добрался до конца ни одного из них. Мои шаги звучали так, как звучат только в покинутых жилищах и в пустых гробницах – странно, глухо, мертво. Много часов я бродил там в одиночестве. Я понимал, что ишу что-то. Но что? Этого я не знал. Наконец там, где, как мне представлялось, должен был находиться угол здания, я отыскал комнату – обычных размеров, с окном, обращенным на запад. Сквозь него я увидел все то же багровое зарево, зловеще нависшее над горизонтом, – зримый предвестник гибельного рока. Я знал, что это пламя вечности. И, глядя на мрачное сияние, я познал ужасную истину. Годы спустя я попытался выразить ее в небольшой стихотворной экстравагантце:

*Вселенная умолкла навсегда...  
Покинутые, скорбные пределы.  
Ни дьяволов, ни ангелов следа,  
И мертвый Бог перед престолом белым!*

Тусклый свет не в силах был рассеять сумрак, царивший в комнате. Прошло какое-то время, прежде чем в самом дальнем углу я разглядел очертания ложа. С предчувствием беды я приблизился к нему. Я чувствовал, что странствие мое должно закончиться какой-то жуткой кульминацией, но не мог сопротивляться силе, толкавшей меня вперед.

На ложе, частью укрытый, покоился труп человеческого существа. Он лежал на спине, вытянув руки вдоль тела. Я склонился над ним – с отвращением, но без страха – и увидел, что он ужасно разложился. Из-под истончившейся кожи выступали ребра, а сквозь впалый живот были видны очертания позвоночника. Лицо сморщилось и почернело, истлевшие губы в жуткой усмешке обнажали желтые зубы. Но веки не провалились – похоже, глаза избежали общего разложения, – и, когда я наклонился, они раскрылись и уставились на меня пристальным, неподвижным взглядом. Только представьте себе весь мой ужас от этого зрелища! Никакие слова не смогут его описать – ведь эти глаза были моими! Этот осколок исчезнувшей расы – то, что невозможно выразить словом, отвратительный, мерзкий ошметок брэнной оболочки, еще длящий свое существование после смерти демонов и ангелов, – это был... я!

Существуют сновидения, которые повторяются постоянно. К ним относится и один мой собственный сон. Он весьма необычен и потому, мне кажется, способен оправдать появление в этой истории. Опасаюсь, впрочем, что читатель может подумать: царство сна – что угодно,

---

<sup>8</sup> Поль Гюстав Доре (1832–1883) – французский график, скульптор, живописец.

но только не отрадныи охотничьи угодыя для блуждающей в ночи души. Уверяю: это не так; многим, как и мне, большинство вторжений в мир ночных грез приносят самые приятные впечатления. Воображение возвращается в тело, как пчела в улей, нагруженная добычей, – и та, помогая разуму, превращается в мед и хранится в ячейках памяти, чтобы дарить радость. Но сон, о котором я собираюсь рассказать, имеет двойственный характер: когда я переживаю его непосредственно, он внушает мне ужас. Впрочем, эмоции, которые он мне сообщает, настолько несоразмерны с тем, что его вызывает, что в ретроспективе нелепость сна даже забавляет.

\* \* \*

Я иду по поляне в некой лесистой местности. За опушкой небольшой рощицы видны возделанные поля и дома необычного вида. Похоже, рассвет близок: луна почти полная, на западе, и висит низко; туман фантастически искажает пейзаж, окрашивая ночное светило в кроваво-красный цвет. Трава у моих ног тяжела от росы, и вся сцена – утро раннего лета – мерцает в призрачном свете луны. Рядом с тропой лошадь. Слышно, как животное щиплет траву. Когда я прохожу мимо, она поднимает голову, пристально смотрит на меня, а затем подходит. Морда у лошади молочно-белая, мягкая и приятная на вид.

Я говорю себе: «У этой лошади нежная душа», – и останавливаюсь, чтобы ее погладить. Она пристально смотрит на меня, потом подвигается ближе и говорит человеческим голосом, человеческими словами. Это меня не удивляет, но я пугаюсь и мгновенно просыпаюсь, возвращаясь в наш мир.

Лошадь всегда разговаривает на моем языке, но я все никак не могу понять, о чем же это она говорит. Думаю, я покидаю страну грез, прежде чем она успеет донести смысл высказывания до меня, – пребывая, несомненно, в таком же смятении от моего исчезновения, как и я от ее обращения ко мне.

Хотел бы я понять смысл ее слов.

Быть может, однажды поутру я их и пойму. Но тогда в наш мир я уже не вернусь.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Психологическое кораблекрушение

Лето 1874 года я провел в Ливерпуле, куда меня забросили дела торгового дома «Бронсон и Джаррет» из Нью-Йорка. Кстати, Уильям Джаррет – это я; мы с Бронсоном были компаньонами. Были, потому что в прошлом году он умер: когда фирма обанкротилась, Бронсон не смог перенести столь жестокого удара судьбы.

Покончив с делами, я почувствовал себя совершенно опустошенным и разбитым и подумал, что длительное морское путешествие пойдет мне на пользу и благотворно отразится на моем здоровье. Поэтому вместо того, чтобы воспользоваться одним из многочисленных чудесных пассажирских пароходов, курсирующих через Атлантику, я решил отправиться в Нью-Йорк на парусном судне. Мне не было нужды размышлять, на каком корабле остановить свой выбор, – прежде я зафрахтовал судно для перевозки разнообразных грузов, закупленных в Англии для фирмы. Так я очутился на «Утренней заре».

Парусник был английским и относился к тому типу судов, на которых пассажиры не могли рассчитывать на особый комфорт. Впрочем, попутчиков у меня оказалось всего двое: молодая англичанка и ее служанка – мулатка средних лет.

Помнится, глядя на свою попутчицу, я подумал, что молодая леди едва ли нуждается в том, чтобы ее опекали. Однако вскоре после нашего знакомства она объяснила, что бедная женщина, собственно, не ее служанка. В свое время этой несчастной довелось пережить страшную трагедию: ее хозяева – супруги из Южной Каролины, гостившие в доме отца девушки, – скончались с разницей в один день, и, так как у нее больше никого не было, она осталась в семье англичанки. Данное обстоятельство (само по себе весьма необычное) обязательно запечатлелось бы в моей памяти, даже если бы позднее в одном из разговоров с попутчицей не всплыло, что имя умершего мужчины полностью совпадало с моим: его звали Уильям Джаррет. Мне приходилось слышать, что одна из ветвей нашего рода действительно обосновалась где-то в Южной Каролине, но сверх того мне ничего о них не было известно.

\* \* \*

«Утренняя заря» покинула Ливерпуль 15 июня. Несколько недель небо было безоблачным, свежий бриз подгонял наш парусник. Капитан – вероятно, хороший моряк, славный, но недалекий человек, – к счастью, не докучал своим обществом, и наши встречи с ним происходили главным образом за обеденным столом в кают-компании. Мы были предоставлены самим себе, и у меня и юной Жанетт Харфорд (так звали англичанку) было достаточно времени, чтобы хорошо узнать друг друга. По правде сказать, мы почти не расставались.

Будучи человеком аналитического склада ума, я старался понять и определить то странное, необычное чувство, которое разбудила во мне Жанетт – едва уловимое, неясное и в то же время властное влечение, неизменно заставлявшее искать ее общества, – но увя, не находил ему вразумительного объяснения. Единственное, в чем я мог поклясться, – в том, что это была не любовь, а нечто иное. Я старался разобраться в характере охватившего меня чувства и, поскольку был уверен в добром расположении молодой женщины ко мне, решил обратиться к ней за помощью.

Долго я не решался заговорить об этом, но вот однажды вечером (помнится, это было третьего июля) мы расположились в шезлонгах на палубе и я, несколько вымученно улыбаясь, попросил ее помочь разрешить этот психологический феномен.

Некоторое время она совершенно не реагировала на мои слова: сидела молча, отвернувшись, устремив взгляд в безбрежный океан. Так продолжалось довольно долго, и я уже начал беспокоиться, не слишком ли бестактно и не деликатно веду себя. Затем она медленно повер-

нула голову и пристально поглядела в мои глаза. Невозможно описать, что тогда со мной произошло. Без сомнения, ее взгляд приобрел вдруг магическую силу. Он подчинил, растворил мой разум и наполнил мое сознание видениями и образами столь странными и доселе неведомыми, что я едва ли смогу внятно описать то состояние, в которое впал. Она смотрела не *на*, а *сквозь* меня, будто из необычайной дали, и взгляд ее был словно и не ее взгляд, – он утратил индивидуальное, присущее только ей выражение. Казалось, что на меня глядели глаза всех тех людей, кого я когда-то встречал на своем пути и чьи мимолетные взгляды когда-то ловил. Но только теперь в них было то же странное выражение, что меня поразило у Жанетт. Парусник, небо, океан – все исчезло. Все перестало существовать, кроме безмолвия лиц, глаз, фигур, заполнивших палубу – сцену в этом необычайном, фантастическом спектакле. А затем... Тьма обрушилась, и словно бездна поглотила меня.

\* \* \*

...Сознание и зрение медленно возвращались. Непроглядный мрак, окружавший меня, постепенно редел, превращаясь в сумеречную дымку, из которой все отчетливее проступали знакомые очертания мачт, палубы, оснастки. Мисс Харфорд лежала в шезлонге, откинувшись. Глаза ее были закрыты, она спала. На ее коленях лежала раскрытая книга, которую она читала на протяжении всего путешествия. Сам не понимая, зачем я делаю это, я протянул руку, взял книгу и посмотрел на заглавие. У меня в руках был экземпляр редкой, весьма любопытной и довольно-таки странной книги – «Размышлений» Деннекера. Один абзац на раскрытой странице был отчеркнут ногтем: «... может случиться с человеком и так, что на какое-то время душа его будет разделена с телесной оболочкой. Подобно тому, как бегущий ручей, пресекая вдруг путь другого, более слабого потока, становится сильнее, так и родственные души, когда пути их пересекаются, сливаются в общий поток, в то время как тела их следуют predeterminedенными им путями. Но как происходит это – человеку познать не дано и никому не ведомо».

Смеркалось. Солнце скрылось за линией горизонта. Мисс Харфорд встала. Хотя было не холодно, ее знобило. Не доносилось ни дуновения: стоял мертвый штиль. Небо было безоблачным, но звезды еще не зажглись. Вдруг торопливый топот ног огласил палубу. Капитан, поднявшись снизу из своей каюты, присоединился к первому помощнику, застывшему у барометра. «О Боже!» – услышал я его восклицание.

Час спустя все было кончено. Парусник, невидимый в темноте и брызгах разбушевавшейся стихии, поглотила морская пучина. Я сжимал в объятьях тело Жанетт Харфорд до тех пор, пока его не вырвал из моих рук водоворот тонущего судна. Сам же я спасся лишь потому, что привязал себя к обломку мачты.

\* \* \*

Я очнулся. Вероятно, меня потревожил свет от лампы, светившей в глаза. Я лежал на койке, в знакомой каюте. Напротив меня на такой же койке сидел мужчина. Он читал книгу. Судя по некоторому беспорядку в одежде, он собирался лечь спать. Вглядевшись, я узнал своего друга Гордона Дойла. Мы встретились с ним в Ливерпуле в день, когда он собирался отплыть в Америку. Он-то и уговорил меня отправиться вместе на пароходе «Прага». Помедлив минуту, я окликнул его по имени. Не поднимая глаз от книги, он что-то неопределенно пробормотал и перевернул страницу.

– Дойл... – повторил я. – Ее спасли?

Наконец-то он соизволил взглянуть на меня и рассмеялся, словно я его чем-то позабавил. Быть может, он посчитал, что я еще не совсем пришел в себя.

– Ее? Кого вы имеете в виду?

– Жанетт Харфорд!

Теперь пришел черед удивляться ему. Веселые огоньки исчезли из его глаз. Он взглянул на меня в глубоком изумлении, но ничего не сказал.

– Не надо говорить мне тотчас об этом, – попросил я его после паузы. – Ты расскажешь мне... не сейчас... потом. – Мгновение спустя я вновь спросил: – Что это за судно?

Дойл опять недоуменно посмотрел на меня, но теперь в его глазах вновь зажглись веселые искры:

– Вы находитесь на пароходе под названием «Прага». Упомянутое судно следует из Ливерпуля в Нью-Йорк. Увы, из-за поломки машины путешествие несколько затянулось, в море мы уже почти три недели. В данной каюте в настоящее время находятся: пассажир парохода Гордон Дойл, – он наклонил голову, – а также сумасшедший по имени Уильям Джаррет. Оба джентльмена ступили на палубу корабля одновременно, но, боюсь, вскоре совместному плаванию будет положен предел, поскольку у первого из упомянутых зреет возрастающее желание выбросить последнего за борт.

Шутливая тирада моего приятеля поразила меня.

– Следует ли вас понимать таким образом, – проговорил я, поднимаясь с постели, – что я уже три недели нахожусь здесь, на этом пароходе?

– Почти три недели. Сегодня – третье июля.

– Я был болен?

– Чрезвычайно... – усмехнулся он. – Здоров как бык. К тому же не пропустили ни одного свидания за обеденным столом.

– О господи, Дойл! Ничего не могу понять! Ради бога, пожалуйста, будьте серьезней. Разве меня не подобрали с разбитой бурей «Утренней зари»?

Выражение лица моего друга изменилось. Он молча наклонился ко мне и положил ладонь на мое запястье.

Минуту спустя он мягко спросил:

– Скажите, что вам известно о Жанетт Харфорд?

– Нет, сначала вы ответьте мне, что вам о ней известно, – произнес я.

Какое-то время Дойл пристально смотрел мне в глаза, видимо решая, как ему поступить, затем вновь уселся на свою койку.

– Почему бы и нет? Хранить тайну сейчас, вероятно, уже нет смысла. Я собираюсь жениться на Жанетт Харфорд. Мы встретились с ней год назад в Лондоне. Знаете, ее семья, одна из наиболее состоятельных в Девоншире, была против нашего союза, и мы бежали... вернее, бежим. Спасаемся бегством с того самого дня, когда мы с вами вступили на борт этого корабля, а она и ее служанка – на палубу «Утренней зари», покинувшей Ливерпуль вскоре после нас. Опасаясь разоблачения, она не рискнула отправиться вместе со мной. Тогда мы решили, что Жанетт, чтобы избежать возможной слежки и вероятности быть узнанной, должна плыть на парусном судне. Теперь я очень беспокоюсь, что «Утренняя заря» придет в Нью-Йорк раньше нас, а бедная девочка даже не знает, куда ей идти. Поломка машины чрезвычайно задержала нас в пути.

Затаившись, я лежал на своей койке – так тихо, что едва дышал.

Дойл, похоже, забыл о моем существовании. Его, казалось, нимало не интересовало, слушаю я его или нет, и после короткой паузы он продолжал:

– Между прочим, Харфорд – не ее фамилия. Жанетт – приемная дочь Харфордов. Она была еще совсем маленькой, когда лишилась родителей. Ее мать погибла на охоте – упала с лошади и разбилась. Отец с горя подвинулся рассудком и наложил на себя руки. Никто не хватился ребенка, и через некоторое время Харфорды удочерили ее. Так она и росла в полной уверенности, что она их дочь, а они – ее родители.

– Дойл, а что за книгу вы читаете?

– О, она называется «Размышления» и принадлежит перу некоего Деннекера, – ответил мой друг. – Довольно необычная книга. Жанетт где-то раздобыла два экземпляра и один дала мне. Хотите посмотреть?

Он бросил книгу мне на кровать, и та раскрылась при падении. На одной из страниц был отмеченный абзац:

«...может случиться с человеком и так, что на какое-то время душа его будет разделена с телесной оболочкой. Подобно тому, как бегущий ручей, пресекая вдруг путь другого, более слабого потока, становится сильнее, так и родственные души, когда пути их пересекаются, сливаются общим потоком, в то время как тела их следуют предопределенными им путями. Но как происходит это – человеку познать не дано и никому не ведомо».

– У нее был... гм... у нее весьма своеобразный, сказал бы даже – уникальный читательский вкус... – выдавил я из себя, пытаясь скрыть охватившее меня волнение.

– Пожалуй, вы правы. А теперь, я надеюсь, вы наконец объясните мне, откуда вам известно ее имя и что случилось с кораблем, на котором она плыла.

– Просто... вы говорили о ней во сне, – ответил я.

Неделю спустя «Прага» бросила якорь в нью-йоркской гавани. Но об «Утренней заре» никаких известий не было, и больше никто и никогда о ней ничего не слышал.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Обитель мертвецов

В восточной части штата Кентукки, в двадцати милях от Манчестера на дороге из Буневилля, в 1862 году стоял большой деревянный плантаторский дом, который выглядел лучше большинства окрестных строений. Но уже на следующий год дом этот уничтожил пожар, который, скорее всего, устроили солдаты генерала Джорджа У. Моргана, когда генерал Кирби Смит гнал его части из Камберлендского ущелья до реки Огайо. Перед тем как сгореть, дом четыре или пять лет пустовал. Земля вокруг него поросла ежевикой, изгороди сгнили, бараки для рабов и немногочисленные хозяйственные постройки, запущенные и разграбленные, разрушились. Для негров и бедняков белых, живших поблизости, деревянные заборы и та древесина, которой можно было пожить в доме, представляла интерес в качестве топлива. Поэтому все, кто мог, беззастенчиво пользовались бесхозным имуществом среди бела дня. Но только среди бела дня. С наступлением сумерек никто, кроме чужаков, не отваживался посещать это место.

У дома была дурная слава – он был известен как обитель призраков. В реальности злых духов, которых якобы видели, слышали и даже встречали лично, тамошние жители несколько не сомневались – как, впрочем, верили и тому, что внушал им по воскресеньям странствующий проповедник. Мнение владельца дома на сей счет неизвестно, поскольку он и его семья однажды ночью пропали, а куда – никто не знал. Они оставили все: утварь, одежду, провизию, лошадей в стойлах, коров на пастбище, рабов в бараках; все было как прежде, ничего не изменилось, кроме того, что глава семейства, его жена, их дети – три девочки, мальчик-подросток и грудной младенец – сгинули без следа! Неудивительно, что плантаторский дом, из которого внезапно исчезли семь человек, казался подозрительным.

Вечером в июне 1859 года два жителя Франкфорта – полковник Дж. С. Мак Ардл, адвокат, и судья Майрон Вей (оба состояли в национальной гвардии штата) – ехали верхом из Буневилля в Манчестер по делу, которое не терпело отлагательств. Они очень спешили, потому продолжали свой путь даже когда стемнело и глухие раскаты грома давали знать, что приближается гроза; эта гроза обрушилась на них, когда они подъехали к «Дому привидений».

В свете непрерывных вспышек молний путники без труда разглядели въезд на плантацию и, миновав ворота, направились к конюшне, где расседлали и оставили своих лошадей. Под проливным дождем они добежали до дома и стали колотить во все двери подряд, но ответа не последовало. Впрочем, гром грохотал с такой силой, что стучи не стучи – услышать было бы сложно. Поэтому они толкнули одну из дверей; она оказалась незапертой. Без церемоний вошли внутрь, затворив за собой дверь, и очутились в полной темноте и тишине. Яркие всполохи молний не проникали ни сквозь щели, ни сквозь окна, – непогоды словно вовсе и не было. У них возникло такое ощущение, будто они оба вмиг ослепли и оглохли, а Мак Ардл впоследствии признавался: когда переступил порог, ему показалось, что его настиг смертельный удар молнии. Продолжение истории поведал сам полковник; его рассказ опубликовали в газете «Адвокат», издаваемой во Франкфорте, 6 августа 1876 года.

«Когда я несколько оправился от ошеломившего нас эффекта внезапной глухоты – переход от грохота бушующей стихии к могильной тишине был поразительным, – моим первым побуждением было вновь открыть дверь, ручку которой я сжимал одеревеневшими пальцами. Я хотел впустить звуки бури и сполохи молнии в дом, чтобы проверить, не лишился ли я зрения и слуха. Повернув ручку, я распахнул дверь. Она вела в другую комнату!

Эта комната вся была залита неизвестно откуда идущим зеленоватым светом. Я видел все, но не очень отчетливо. Я сказал «все», хотя на самом деле моему взору предстали только голые каменные стены и человеческие трупы. Их было восемь или десять, но, разумеется, тела я не считал. Останки принадлежали людям мужского и женского пола и разного возраста,

точнее, разной величины – начиная с маленького тельца грудного малыша. За исключением трупа молодой, как мне почудилось, женщины – она умерла сидя, прислонившись к стене, – все остальные тела лежали на полу. Еще одна женщина, постарше, держала на руках младенца. Она прижимала его к себе. У ног бородатого мужчины лицом вниз лежал подросток. Одежда двоих мертвецов истлела настолько, что тела их были почти обнажены; девушка придерживала рукой край разодранной на груди рубашки. Трупы были в разной степени разложения, лица и тела иссохли. Некоторые уже почти превратились в скелеты.

Я стоял в оцепенении, не в силах сойти с места от охватившего меня ужаса, и продолжал инстинктивно держаться за дверную ручку. Но мое внимание быстро переключилось с чудовищного зрелища – я сосредоточился на мелочах и деталях. Похоже, разум мой из чувства самосохранения таким образом пытался хотя бы немного ослабить невероятное нервное напряжение, выдержать которое иначе я был просто не способен. Среди прочего я хорошо запомнил, что дверь – я по-прежнему держал ее открытой – сделана из склепанных внахлест тяжелых пластин кованого железа. Из торца, сверху и внизу, на одинаковом расстоянии друг от друга, торчали по три мощных стержня. Я повернул ручку – стержни ушли внутрь. Отпустил – они выдвинулись, как замки на пружинах. Изнутри комнаты ручки на двери не было, только сплошная металлическая гладкая поверхность без единого выступа.

На все я смотрел с неподдельным интересом. И сейчас, когда вспоминаю те события, нахожу их достойными удивления. Так и стоял, потрясенный и растерянный, когда судья Вей, о котором я забыл, вдруг оттолкнул меня и решительно ступил за порог.

– Бога ради! – вскричал я. – Не входите! Нужно выбираться из этого жуткого места!

Судья был глух к моим словам. Решительно и бесстрашно – как все южане! – он быстро вошел и встал в центре комнаты. Опустившись на колени перед одним из тел, чтобы рассмотреть получше, он осторожно приподнял почерневшую и высохшую голову. Омерзительное зловоние, распространившись мгновенно, ударило мне в нос, лишая сил. Сознание помутилось, ноги подкосились, я ощутил, что падаю. В попытке сохранить равновесие я схватился за кромку двери, но та, щелкнув, захлопнулась!

Что было дальше – не помню... Провал в памяти.

Я очнулся в Манчестере, в гостинице. Туда на следующий день меня привезли незнакомые мне люди. Без сознания я пробыл шесть недель. Все это время метался в лихорадке и бредил. Мне сказали, что нашли меня в нескольких милях от злополучного дома. Но как я из него выбрался, как прошел несколько миль – мне непонятно. Когда врачи разрешили говорить, я спросил о судье. Мне ответили: «Судья Вей дома, с ним все в порядке». Позже я узнал, что это не так, меня просто хотели успокоить.

Я рассказал обо всем, что видел, но мне никто не верил – ни единому слову. Но стоит ли тому удивляться? И разве способен хоть кто-то вообразить, какое потрясение я испытал, когда, вернувшись домой два месяца спустя, выяснил, что о судье Вее с той самой ночи никто ничего не слышал? Как я жалею теперь, что дурацкая гордость не дала мне возможности настоять тогда на правдивости приключившейся со мной невероятной истории. Теперь я понимаю, что должен был с самого первого дня после выздоровления повторять ее снова и снова!

Позднее дом обследовали, но комнаты, соответствующей моему описанию, не обнаружили. Меня пытались объявить сумасшедшим. Мне удалось избежать этого, как известно читателям «Адвоката». С того злополучного дня прошло много лет, но я по-прежнему уверен, что раскопки, на которые у меня нет юридических прав и финансовых возможностей, могли бы пролить свет на загадочное исчезновение моего несчастного друга, а возможно, и прежних обитателей и владельцев злополучного дома – сначала пустовавшего, а потом и вовсе сгоревшего. Но я не отчаиваюсь и продолжаю надеяться, что когда-нибудь смогу раскрыть тайну. Однако меня глубоко огорчают и расстраивают враждебность и неразумный скептицизм род-

ных и друзей покойного судьи Вея. Именно по этой причине и мои разыскания были отложены на столь длительное время».

Полковник Мак Ардл скончался во Франкфорте три года спустя, 13 декабря 1879 года.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Случай на мосту через Совиный ручей

### I

В северной части Алабамы на железнодорожном мосту стоял человек. Он смотрел вниз на потоки воды, бегущие в двадцати футах под ним. Его руки были заведены за спину, запястья стянуты шнуром. Шею крепко охватывала веревка. Она была закреплена на поперечной балке у него над головой, оставшийся конец болтался свободно, почти касаясь его колен. Несколько досок были уложены на шпалы, по которым тянулись стальные рельсы железнодорожного полотна. Доски служили помостом для него и его палачей – двух рядовых федеральной армии, которыми командовал сержант. В мирной жизни последний, вероятнее всего, был помощником шерифа. В некотором отдалении, но на том же временном помосте стоял офицер. Он был в парадной форме капитана армии США и вооружен. На каждом из концов моста стояли часовые. Они замерли с винтовками в положении «на караул», то есть держали их вертикально, против левого плеча, в руке, согнутой под прямым углом параллельно грудной клетке. Поза эта, как известно, искусственна и неудобна и требует от солдата неестественного и напряженного выпрямления корпуса. Судя по всему, в обязанности двух солдат не входило знать, что происходит на мосту, – каждый из них со своей стороны преграждал путь любому, кто попытается подойти к помосту, и только.

За спиной одного из часовых не было видно ни души: рельсы железной дороги на сотню метров по прямой убежали в лес, затем поворачивали и терялись из виду. В той стороне наверняка находилось сторожевое охранение. Другой берег был открытым, но пологий склон упирался в импровизированный частокол из вертикально вкопанных в землю бревен. В нем были пробиты бойницы для стрельбы из ружей и амбразура, оттуда торчал ствол бронзовой пушки. Она была наведена на мост и готова к стрельбе. На полпути между мостом и укреплением, на откосе, расположились зрители, – около роты солдат-пехотинцев вытянулись вдоль берега в линию в положении «вольно»: приклады ружей упирались в землю, стволы наклонены к правому плечу, руки, согнутые в локтях, покоились на ложах. Справа от строя стоял лейтенант. Саблю он воткнул в землю, руки положил на ее эфес. За исключением тех четверых на середине моста, никто не двигался. Строй солдат был развернут лицом к мосту и словно окаменел – все стояли безмолвно, неподвижно. Часовые застыли, обращенные лицом каждый к противоположному берегу; они казались статуями, элементом архитектуры, а не живыми людьми. Капитан, скрестив на груди руки, стоял молча, наблюдая за работой своих подчиненных и не мешая их действиям. Смерть – особа высокого достоинства. Когда она приходит, известив о своем появлении заранее, ее следует принимать со всеми официальными почестями – и это касается также тех, кто с ней накортке. Согласно армейскому этикету, безмолвие и неподвижность – символы глубокого почтения.

Человеку, которого собирались повесить, было, вероятно, лет тридцать пять. Судя по внешнему облику, он был штатский – скорее всего, плантатор. У него были правильные черты лица: прямой нос, четкая линия рта и широкий лоб. Длинные, темного цвета волосы были зачесаны за уши и, сбегая вниз, падали на воротник хорошо пошитого дорогого сюртука. Он носил усы и аккуратно подстриженную бородку клинышком, щеки выбриты; в больших темно-серых глазах читалась доброта, – трудно было ожидать увидеть ее в глазах человека с петлей на шее. Он никак не походил на обычного преступника. Но закон военного времени весьма «либерален» и не скупится на смертные приговоры для людей разного звания, не исключая и джентльменов.

Когда приготовления были закончены, оба солдата сделали по одному шагу в сторону, затем каждый оттащил за собой доску, на которой стоял. Сержант повернулся лицом к капитану и вскинул руку к головному убору, отдавая честь. Сразу после этого он встал за спиной офицера, тот немедленно тоже сделал шаг в сторону. Эти перемещения привели к тому, что сержант и осужденный оказались на противоположных концах доски, покрывавшей три перекладыны моста.

Тот конец, на котором стоял штатский, почти доходил до четвертой. Прежде доска удерживалась в состоянии равновесия тяжестью капитана, теперь его заменил сержант. По сигналу, который подаст капитан, тот шагнет в сторону, равновесие нарушится, доска опрокинется – и осужденный повиснет в пролете между двумя перекладами. Осужденный подумал, что способ, которым его собираются казнить, прост и эффективен. Ему не завязали глаза и оставили лицо открытым. Мгновение его взгляд задержался на зыбком подножье собственного бытия, затем, блуждая, переместился на бурлящие потоки воды, что бешено неслись у него под ногами. Его внимание привлек кусок бревна: он вращался и подпрыгивал на воде, человек проводил его взглядом вниз по течению... Как медленно он двигался! Какая ленивая река!

Он закрыл глаза и попытался сосредоточить последние мысли на жене и детях. Вода, тронутая золотом восходящего солнца, туман, стелющийся по берегам реки, форт, солдаты, кусок бревна – все это прежде отвлекало его. Но теперь он ощутил новую помеху. Пронизывая сквозь его мысли о близких и любимых, перемешивая их, какой-то звук – отчетливый, мерный, металлический, от которого он никак не мог отрешиться и природу которого понять был не в состоянии, – напоминал ему удары кузнечного молота по наковальне. Он недоумевал, что это может быть за звук, откуда он доносится – с близкого расстояния или издалека: он казался бесконечно далеким и поразительно близким одновременно. Удары раздавались через равные промежутки, но были так медленны! – как похоронный звон. Он ждал каждого удара с нетерпением и – сам не понимая почему – со страхом. Паузы между ударами постепенно удлинились и мучили его. Чем реже раздавались звуки, тем сильнее и отчетливее становились. Они причиняли боль, будто ножом резали ухо. Он боялся, что не выдержит и закричит. То, что он слышал, было тиканьем его часов.

Он открыл глаза и вновь посмотрел на воду, бегущую внизу под ногами. «Если бы мне только удалось освободить руки, – подумал он, – я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Под водой пули меня не достанут, я быстро доплыву до берега, спрячусь в зарослях, а потом лесом доберусь до дома. Мой дом, слава Богу, по ту сторону фронта; жена и дети еще недосыгаемы для захватчиков».

Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, скорее сверкнули молнией, нежели сложились в сознании обреченного, капитан кивнул сержанту. Сержант сделал шаг в сторону.

## II

Пейтон Фаркуэр был плантатором и принадлежал к старинной и весьма уважаемой семье из Алабамы. Подобно многим другим рабовладельцам, он являлся сторонником отделения южных штатов и яростным приверженцем делу южан. Обстоятельства, о которых здесь говорить не стоит, сложились таким образом, что он не смог вступить в ряды благородной армии, сражавшейся несчастливо и поверженной под Коринфом. Он томился в бесславной праздности, лишенный возможности реализовать бурлящую в нем энергию в тяжелой солдатской жизни, но искал возможности отличиться. Он верил, что такой случай представится – в военное время он дается любому. А пока делал то, что мог. Не было даже самого малого дела, которым бы он пренебрег, если оно могло пойти на пользу Югу, не нашлось бы предприятия, опасного настолько, чтобы он не мог в нем участвовать, – у этого сугубо гражданского человека

было сердце настоящего воина. К тому же он глубоко и искренне уверовал в довольно гнусный принцип, что в любви и на войне все дозволено.

Однажды вечером, когда Фаркуэр сидел с женой на скамье у ворот своей усадьбы, к ним на лошади подъехал солдат в серой униформе и попросил напиток. Миссис Фаркуэр была счастлива услужить ему и решила собственноручно принести воды. Пока она ходила в дом, ее муж приблизился к запыленному всаднику и стал расспрашивать того о последних новостях с фронта.

– Янки восстанавливают железные дороги, – сказал солдат, – и готовятся к новому наступлению. Сейчас они подошли к мосту через Совиный ручей, починили его и построили форт на северном берегу. Их командующий издал приказ – они его везде расклеили – о том, что любой штатский, уличенный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или подвижного состава, будет схвачен и повешен без суда. Я сам читал.

– А скажи, далеко ли до этого самого моста через Совиный ручей? – спросил Фаркуэр.

– Около тридцати миль.

– А на нашем берегу есть охрана?

– Небольшая. Сторожевой пост в полумиле от моста на железной дороге да часовой на самом мосту.

– А если бы некий кандидат в висельники, штатский, сумел пробраться незамеченным мимо поста и справился с часовым, – с улыбкой произнес Фаркуэр, – что бы он смог сделать?

Солдат задумался.

– Я был там с месяц назад, – ответил он, – и видел, что во время паводка к опорам моста с нашего берега прибило много плавника. Сейчас бревна высохли, мост деревянный – все вспыхнет, как пакля.

Разговор прервался, потому что леди принесла воды и дала солдату напиток. Он искренне поблагодарил ее, кивнул хозяину и ускакал. Через час, когда уже стемнело, он снова миновал плантацию, но теперь в обратном направлении. Это был разведчик – шпион федеральных войск.

### III

Падая в пролет моста, Пейтон Фаркуэр потерял сознание, словно умер. Он очнулся – казалось, прошли века – от острой боли, сдавившей горло; за ней последовало удушье. Толчки резкой боли выстреливали от горла и пробегали мучительной волной по всему телу и конечностям, докатываясь до каждой клеточки. Боль мчалась по точно намеченному маршруту и пульсировала с невероятной частотой. Волны боли были похожи на потоки огня, накалявшие все его существо до нестерпимой температуры. Но до головы боль не доходила, – голова гудела от избытка прилившей крови. Эти ощущения не сопровождались мыслями. Та, способная мыслить часть его существа, уже была уничтожена; чувствовать – единственное, на что он был способен, и чувствовать было пыткой. Он ощущал, что движется. Словно гигантский маятник, он, лишенный материальной субстанции, огненный пульсирующий шар, заключенный в облако света, качался по невообразимой дуге колебаний. Затем внезапно все это кончилось: с пугающей необратимостью свет, в который он был заключен, с громким всплеском взлетел кверху, уши затопил неистовый рев, все его существо обступили холод и мрак. И вот тогда его мозг заработал снова: он понял, что веревка оборвалась и он упал в воду. Но не захлебнулся: петля, стягивающая его шею, не дала воде залить легкие. Смерть через повешение на дне реки! – сама идея показалась ему забавной и нелепой. Он открыл глаза, и его обступил сумрак, только высоко наверху был заметен отблеск света. Но как он был далек, как недостижим! Он продолжал погружаться, потому что свет становился слабее и слабее, пока не превратился в едва замет-

ное мерцание. Но затем свет стал расти, он прибывал и разгорался, и человек понял, что его выносит к поверхности, – понял с сожалением, потому что теперь ему было хорошо.

«Быть повешенным, а потом еще и утонуть, – подумал он, – через это я уже прошел; но я не хочу, чтобы меня еще и застрелили. Нет, меня не застрелят, это было бы слишком несправедливо».

Сознание не принимало участия в его действиях, но по острой боли в запястьях он понял, что пытается освободить руки. Он стал внимательно следить за собственными действиями, но его интерес был сродни интересу зрителя в цирке, который отстраненно наблюдает за работой фокусника. Какая поразительная ловкость! Какая удивительная, просто нечеловеческая сила! А какая настойчивость! Браво! Веревка упала, руки освободились и всплыли, – он смутно различал и ту и другую в ширящемся свете. С каким-то новым интересом он наблюдал, как сначала одна, потом вторая вцепились в петлю на шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули в сторону. Веревка извивалась в воде и походила на плывущего ужа... «Верните ее! Верните ее обратно!» Человеку показалось, что это он крикнул своим рукам, ибо страдания, которые он испытал после того, как петля исчезла, были непереносимы. Шея разрывалась от боли, под черепной коробкой пылал огонь; сердце, до той поры едва бившееся, сделало рывок и подскочило прямо к горлу, словно пытаясь вырваться наружу. Все его тело будто стонало и корчилося в дьявольских конвульсиях!

Но непокорные руки не слушались его команд. Они били в воде сильными, быстрыми ударами сверху вниз, выталкивая его к поверхности. Он почувствовал, как голова вырвалась из воды, глаза ослепило солнце, грудная клетка судорожно расширилась, и его легкие – почти в агонии – вдруг заполнились воздухом, которого было так много, что человек с воплем исторг его из груди!

Сейчас он полностью владел своими чувствами. Более того, теперь они стали необычайно остры. Вероятно, страшное потрясение, которое он перенес, что-то изменило в устройстве его организма, и теперь человек чувствовал то, что прежде было ему недоступно. Он ощущал рябь воды на лице и слышал звук каждого ее толчка. Он смотрел на прибрежный лес и различал каждое дерево, каждый листок и даже каждую прожилку на нем. Он видел насекомых в лесу – всех, без изъятия: кузнечиков, мух с алмазными блестящими крыльями, серых пауков, прядущих паутину и тянущих нити от ветви к ветви. Он замечал все цвета радуги в каплях росы на миллионах травинок. Жужжание мошкеры, плясавшей над водоворотами, шум крыльев стрекоз, удары лап жука-плавунца, похожего на лодку, влекомую веслами, – все это теперь было для него внятной музыкой. Рыбка скользнула вдоль его глаз, и он расслышал шелест рассекаемой ее телом воды.

Он выплыл на поверхность лицом по течению реки, но в тот же миг видимый мир начал медленно вращаться вокруг него, словно он был центром этого мира. Он видел мост, укрепление, солдат на мосту: капитана, сержанта, двух рядовых – всех своих палачей. На фоне яркого голубого неба их силуэты были отчетливо очерчены. Они кричали и размахивали руками, указывая на него. Капитан выхватил свой револьвер, но не стрелял, остальные были безоружны. Их фигуры казались ему огромными, жесты жуткими, угрожающими и нелепыми.

Внезапно он услышал резкий звук выстрела, и что-то с силой ударило в воду в нескольких дюймах от его головы, обдав лицо брызгами. Снова раздался выстрел, и он увидел одного из часовых, целившегося из ружья, и голубой дымок, вырвавшийся из дула. Человек в воде увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь прицел. Он заметил, что глаз был серого цвета, и вспомнил, что серые глаза самые зоркие и что все знаменитые стрелки сероглазы. Он где-то читал об этом. Как бы там ни было, этот стрелок промахнулся.

Водоворот подхватил Фаркуэра и повернул его. Он снова оказался лицом к противоположному от форта лесистому берегу. Звук голоса, звонкий и отчетливый, раздался позади него: однотонный и певучий, он донесся по воде так отчетливо, что разорвал и заглушил все иные

звуки, даже шум журчащей воды в ушах. Хотя он не был солдатом, но посещал военные лагеря достаточно, чтобы понять суровый смысл этого нарочитого, мерного и протяжного напева: лейтенант на берегу решил, что настала пора и ему вмешаться в утренние события. Как холодно и безжалостно, и в то же время ровно и нарочито спокойно – словно он пытался передать свою собранность солдатам, – с точно выверенной размеренностью падали жестокие слова:

– Рота!.. Ружья к бою!.. Готовься!.. Целься!.. Огонь!

Фаркуэр нырнул, – нырнул так глубоко, как только смог. Вода взревела в его ушах чудовищным грохотом Ниагарского водопада, однако он услышал приглушенный гром ружейного залпа и, уже всплывая обратно к поверхности, увидел сияющие, сплюсненные кусочки, которые, зыбко покачиваясь, медленно опускались в глубину. Некоторые из них коснулись его лица и рук, на мгновение остановив падение, но затем скользнули вниз. Один застрял между воротником и шеей, стало горячо и неприятно, и он вырвал его оттуда.

Когда, задыхаясь, Фаркуэр вынырнул на поверхность, оказалось, что под водой он пробыл довольно долго; течение унесло его достаточно далеко, спасение теперь было совсем рядом. Солдаты почти закончили перезаряжать ружья; стальные шомпола, выдернутые из стволов, разом блеснули на солнце и, перевернувшись в воздухе, устремились в свои гнезда. Два часовых снова выстрелили – они действовали по собственному почину – и промахнулись.

Несчастный беглец видел все это, оглядываясь через плечо; теперь, удаляясь, он плыл по течению, сильно загребая. Мозг его работал с энергией ничуть не меньшей, нежели его руки и ноги, мысль обрела быстроту молнии.

«Офицер, – размышлял он, – совершил ошибку, во второй раз так он не ошибется. От залпа уклониться так же легко, как от одной пули. Скорее всего, он уже скомандовал стрелять вразнобой. Господи! Помоги мне! От всех пуль мне не увернуться».

Чудовищный водяной столб вздыбился в паре метров и прервал его мысли. Тотчас раздался громкий, стремительный гул, который, слабея, казалось, возвращался по воздуху назад в форт и, замерев, вдруг взорвался сокрушительным взрывом, – вся река содрогнулась от него до самого дна! Поднялась стена воды, накренилась и... рухнула на человека, лишая зрения, слуха и воздуха! В игру вступило орудие. Не успел он прийти в себя от взрыва, как услышал шелест летящего снаряда. Тот летел мимо, и через мгновение в лесу раздался треск и грохот ломающихся веток и стволов деревьев.

«Больше они этого не сделают, – подумал беглец. – В следующий раз в дело пойдет шрапнель. Я должен следить за пушкой. Дым от выстрела меня предупредит. Звук запаздывает и доходит слишком поздно. Пушка хорошая, ее нужно опасаться».

Внезапно его подхватило и закружило, он завертелся, как волчок. Вода, оба берега, лес и деревья, мост в отдалении, форт и солдаты – все перемешалось и расплылось. Предметы напоминали о своем существовании только цветом.

\* \* \*

Вращение горизонтальных цветных полос – вот и все, что он видел. Его затянуло в водоворот и несло вперед с такой скоростью, а вращало с такой неистовой силой, что он испытал сильнейшую тошноту и головокружение. Через несколько мгновений его вышвырнуло на галечный пляж левого – южного – пологого берега, и он очутился за выступом, который скрыл его от врагов. Внезапно прерванное движение, боль в руке, пораненной о камень, привели его в чувство, и он зарыдал от радости. Беглец погружал пальцы в песок и гальку, захватывал пригоршнями и высыпал их на себя. И вслух благословлял их. Камни сияли алмазами, рубинами, изумрудами: ничего прекраснее их не могло быть на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями; человек с наслаждением вдыхал аромат их цветов. Станный, розоватого оттенка свет струился между стволами, а шум ветра в листве и ветвях звучал, как

звук эоловой арфы. Человек уже не испытывал желания продолжать свое бегство, он хотел остаться в этом зачарованном месте, пока его не настигнут.

Визг и треск картечи в ветвях высоко над головой в прах разнесли его грезы. Канонир, видимо, послал ему прощальный привет, в досаде выстрелив наудачу вдогонку. Беглец вскочил на ноги, взбежал вверх по отлогому берегу и скрылся в лесу.

\* \* \*

Он шел весь день, сверяя свой путь по солнцу. Лес казался бесконечным, нигде не было ни просек, ни даже обычной лесной тропинки. Он и не предполагал, что живет в такой глуши. Было нечто жуткое в этом открытии.

К сумеркам он совсем обессилел, сбил в кровь ноги и умирал от голода. Одна лишь мысль о жене и детях продолжала гнать его вперед. Наконец он выбрался на дорогу, которая, как он полагал, идет в нужном направлении. Она была широкая и прямая, как улица в большом городе, но, судя по всему, никто по ней не ездил. Не было вдоль нее ни полей, ни строений. Ничто не указывало на то, что здесь живут люди, ни разу даже не залаяла собака. Только черные стволы деревьев возвышались по сторонам, образуя отвесную стену, уходя к горизонту и сходясь где-то там, в одной точке, словно линии на перспективном чертеже. Окончательно стемнело, и высыпали крупные золотые звезды. Странное дело, но, задрав голову, он смотрел вверх и не узнавал ни звезд, ни созвездий. Однако был уверен, что их расположение имеет тайный и зловещий для него смысл. Лес вокруг был полон загадочных звуков, среди которых – раз, другой и снова – он ясно слышал шепот на неизвестном языке.

Шея сильно болела. Он поднял руку, дотронулся до нее и обнаружил, что она чудовищно распухла. Он знал, что там черный круг – след от веревки. Глаза тоже пострадали: они вылезли из глазниц, и теперь он не мог их закрыть. Язык распух от жажды; чтобы как-то уменьшить страдания, человек высунул его на холодный воздух. Но какой мягкой травой поросла эта неезженная дорога, – он уже и не чувствовал ее под ногами!

Все же он уснул на ходу, несмотря на все свои мучения, потому что теперь он увидел совсем другую картину – а может быть, просто очнулся от бреда.

\* \* \*

...Он стоял у ворот собственного дома. Все осталось таким, как он покинул, но все так ярко и красочно в лучах утреннего солнца!

Похоже на то, что он шел всю ночь. Он толкнул ворота – они раскрылись – и пошел по широкой светлой аллее. Мелькнуло воздушное женское платье – это его жена, свежая, спокойная и желанная, спускается с веранды по ступенькам ему навстречу. На нижней ступеньке она остановилась и ждет его с улыбкой невыразимого счастья на устах, – земное воплощение безупречной грации и благородства. Ах! Как она прекрасна! Он бросился к ней, раскрыв объятия. Он уже почти обнял ее, как вдруг чудовищный удар обрушился сзади на его шею; ослепительный белый свет взорвался с грохотом орудийного выстрела и полыхнул кругом, – а затем лишь мрак и безмолвие!

Пейтон Фаркуэр был мертв. Его тело со сломанной шеей мерно покачивалось из стороны в сторону под стропилами моста через Совиный ручей.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Средний палец правой ступни

### I

Всем в округе было хорошо известно, что в заброшенном доме Ментона обитает привидение. Никто из обитателей окрестных ферм, никто из жителей ближнего городка Маршалл, что в миле от упомянутой усадьбы, даже и не думал сомневаться в этом. Нашлось, правда, несколько чокнутых, которые сомневались, но на то они и ненормальные, чтобы сомневаться в вещах очевидных. А доказательства того, что в доме Ментона бродит привидение, имелись: во-первых, тому нашлись беспристрастные свидетели, а во-вторых, сам дом. Конечно, показания очевидцев можно оспаривать, употребляя доводы, которые умы зловредные применяют обычно в спорах против умов простых и открытых, но факты, основательные и убедительные, говорят сами за себя.

Прежде всего, дом Ментона пустовал уже более десяти лет вместе со всеми своими пристройками, постепенно разрушался, приходя в упадок. И обстоятельство это никто не мог игнорировать. Дом стоял на пустынном участке дороги из Маршалла в Хэрристон среди пустоши, некогда бывшей фермерскими угодьями, – там все еще торчат остатки догнивающего забора среди колючих кустов ежевики, укрывшей каменистую и бесплодную землю, давно не тронутую плугом. Сам же дом был в довольно приличном состоянии, хотя порядком отсырел и нуждался в особом внимании стекольщика. Последнее объяснялось главным образом тем, что младшее поколение мужской части населения округа таким оригинальным способом стремились выразить свое неодобрение жилищам, лишенным жильцов.

Дом был двухэтажный, почти квадратный, с единственной дверью по фасаду и двумя окнами по обе стороны от нее, доверху заколоченными досками. Окна над ними не были защищены, и потому комнаты второго этажа были открыты всем дождям и солнечному свету. Все вокруг дома заросло сорной травой. Несколько некогда тенистых деревьев явно пострадали от напора стихий – они росли, склонившись в одну сторону, словно пытаясь бежать из этого места. То есть, как совершенно справедливо выразился штатный юморист местной газеты, «предположение, что в доме Ментона крепко пошаливают привидения, напрямую следует из его внешнего вида». Тот факт, что около десяти лет назад мистер Ментон счел необходимым встать однажды ночью с постели и перерезать горло своей жене и двум маленьким ребятишкам, а затем скрыться в неизвестном направлении, несомненно, содействовал распространению мнения, что это место необычайно приспособлено для сверхъестественных явлений.

Однажды летним вечером к этому дому подъехал экипаж. В нем находилось четверо мужчин. Трое не мешкая вышли, и возница стал привязывать лошадей к единственному столбу, оставшемуся от ограды. Четвертый мужчина остался сидеть в экипаже.

– Идемте, – произнес, подходя к нему, один из его спутников. – Это и есть то самое место.

Человек, к которому он обратился, не двинулся с места, но отреагировал такими словами:

– О Господи! – сказал он. – Это ловушка... И мне кажется, что вы в этом участвуете.

– Вполне возможно, – отвечал другой тоном слегка презрительным, вызывающе глядя прямо в глаза собеседнику. – Однако не забывайте, что выбор места, с вашего же согласия, был предоставлен противной стороне. Конечно, если вы боитесь привидений, то...

– Я ничего не боюсь, – прервал его собеседник и, чертыхаясь, спрыгнул на землю.

Они догнали остальных у двери, которую уже открыли, хотя и пришлось несколько повозиться из-за ржавого замка и петель. Все вошли. Внутри было темно, но тот, кто отпирали входную дверь, достал свечу и спички. Когда огонь разгорелся, стало видно, что они находятся в коридоре. Тот же человек распахнул дверь, что была справа от них. В тусклом свете свечи

их взору открылась большая квадратная комната. Пол ее, словно ковер, укрывал густой слой пыли, и он частично глушил шаги. Углы комнаты были завешены паутиной. Паутина свисала с балок потолка, словно обрывки сгнивших кружев; она плавно колебалась в такт движениям воздуха. Комната была угловой и имела два окна, но сквозь них ничего нельзя было разглядеть – только грубую неровную поверхность досок, которыми окна были забиты на расстоянии нескольких сантиметров от стекол. В комнате не было ни камина, ни мебели – ничего, кроме паутины, пыли и четырех человек, явно лишних здесь.

Довольно странно они смотрелись в желтом неровном свете свечи. Среди них один особенно привлекал внимание – так необычно он выглядел; он явно был сильно взволнован. Это был мужчина средних лет, высокий, крупный, с большой грудной клеткой, широкоплечий. Одного взгляда на его фигуру было достаточно, чтобы заключить, что он обладает недюжинной силой и не преминет при случае ею воспользоваться. Он был гладко выбрит, коротко пострижен, в волосах густо пробивалась седина. У него был низкий лоб, изборожденный морщинами. Над глазами нависали густые черные брови, почти сросшиеся на переносице. Под ними мрачно горели глубоко запавшие глаза неопределенного цвета, слишком маленькие для этого большого человека. В их выражении было что-то отталкивающее, и впечатление это отнюдь не скрашивали жесткий рот и широкая, тяжелая нижняя челюсть. Нос, напротив, был вполне обычный, как и большинство человеческих носов, – да от носа ничего особенного и ожидать-то нельзя! Но общее выражение лица было зловещим, и впечатление это усиливалось неестественной его бледностью – оно казалось совершенно бескровным. Внешность остальных была вполне обычной: они принадлежали к тому распространенному типу людей, встретив которых забываешь, как они выглядели, едва расставшись с ними. Все они были моложе упомянутого субъекта, который стоял в стороне от них и, очевидно, не испытывал ни малейшей к ним симпатии: он и его спутники избегали смотреть друг на друга.

– Джентльмены, – произнес тот, кто держал в руках ключи и свечу, – я полагаю, все в порядке. Вы готовы, мистер Россер?

Один из молодых людей отделился от группы и поклонился с улыбкой.

– А вы, мистер Гроссмит?

Гигант изобразил на лице гримасу, которую едва ли можно было принять за улыбку, и наклонил голову.

– Будьте любезны, джентльмены, снять верхнее платье.

Довольно быстро в коридор переключевали шляпы, сюртуки, за ними жилеты и галстуки. Человек со свечой кивнул головой, четвертый спутник – тот, который уговаривал Гроссмита выйти из экипажа, – достал из кармана пальто пару длинных, смертоносного вида ковбойских ножей и вытащил их из кожаных ножен.

– Они совершенно одинаковы, – произнес он, вручая по ножу каждому из противников: теперь любой наблюдатель, даже совершенно лишенный проницательности, легко мог сделать бесспорный вывод о цели данного мероприятия.

Предстояла дуэль – не на жизнь, а на смерть.

Каждый из ее участников взял нож, внимательно осмотрел его при свете огарка свечи, испробовал надежность лезвия и рукоятки о собственное согнутое колено. После этого секунданты обыскали дуэлянтов, причем каждого обыскивал секундант противника.

– Если вы ничего не имеете против, мистер Гроссмит, – произнес человек, державший свечу, – соблаговолите встать в тот угол.

И он указал на угол комнаты, наиболее удаленный от двери. Перед тем как Гроссмит переместился в отведенный ему угол, секундант простился с ним. Их рукопожатие едва ли можно было назвать сердечным.

Угол, ближний к двери, занял мистер Россер. Его секундант, посоветовавшись о чем-то с ним шепотом, оставил его и присоединился к секунданту противника, стоявшему у двери.

В этот момент свеча внезапно погасла, и все растворилось во мраке. Отчего погасла свеча? Вероятнее всего, причиной тому стал сквозняк из открытой двери, но, как бы там ни было, эффект получился потрясающий!

– Джентльмены... – раздался голос в темноте. Странно, но в изменившихся обстоятельствах и он звучал совершенно по-другому – так незнакомо. – Джентльмены, вы не должны двигаться до тех пор, пока не услышите, как захлопнется внешняя дверь.

Послышался звук шагов, закрылась внутренняя дверь... Наконец хлопнула и дверь на улицу – это действие сопровождалось таким ударом, что от него содрогнулось все здание.

Некоторое время спустя припозднившийся путник – мальчишка с одной из окрестных ферм – повстречал экипаж, бешено несущийся ему навстречу в сторону Маршалла. Он сказал, что на переднем сиденье располагались двое, а сзади, выпрямившись во весь рост, стоял третий, вцепившийся в плечи седоков. Мальчишке показалось, что они тщетно пытаются освободиться от его рук. Этот третий, в отличие от остальных, был одет во все белое и – в этом мальчишка был уверен – вскочил в экипаж, когда тот проезжал мимо лома с привидениями. Поскольку паренек этот был известен в округе своим опытом в области сверхъестественных явлений, то его слова возымели весомость экспертного заключения. История эта (вкуче с последовавшими на другой день событиями) вскоре появилась на страницах местной газеты «Вперед» – разумеется, с комментариями и в несколько приукрашенном виде. Содержалось там и примечание, что упомянутым в ней джентльменам предоставляется право использовать страницы газеты для изложения собственной версии ночного приключения. Никто, однако, привилегией этой воспользоваться не поспешил.

## II

Предыстория, повлекшая упомянутую «дуэль в темноте», была весьма незамысловата. Однажды вечером трое горожан отдыхали, расположившись в отдаленном углу веранды местной гостиницы. Они курили и оживленно беседовали. О чем? О том, что может возбудить настоящий интерес у трех молодых образованных провинциалов-южан. Их звали Кинг, Санчер и Россер.

Неподалеку от них, вполне в пределах слышимости, находился четвертый мужчина, который не принимал участия в разговоре. Они не были с ним знакомы и знали только то, что он прибыл вечерним дилижансом и в книге для приезжих записался как Роберт Гроссмит. Никто не видел, чтобы он разговаривал с кем-то, кроме портье. Судя по всему, особое пристрастие незнакомец испытывал лишь к собственной компании, и это позволило репортеру все той же местной газеты заключить, что приезжий был «чрезвычайно привержен дурному обществу». Правда, справедливости ради следует сказать и в защиту незнакомца: едва ли репортер, отличавшийся слишком общительным характером, может объективно судить о человеке, который наделен противоположным свойством, – тем более что незнакомец явно задел его, отказавшись дать интервью.

– Я ненавижу любое уродство в женщине, – говорил Кинг. – И для меня неважно, от природы оно или приобретенное. Более того, я полагаю, что любому физическому недостатку сопутствует, в свою очередь, какой-либо умственный и моральный изъян.

– Из этого следует, – с мрачной серьезностью констатировал Россер, – что некая леди, аморально щеголяющая отсутствием носа, могла бы без труда убедиться, что стать госпожой Кинг – несбыточная для нее затея.

– Конечно, вы можете шутить на эту тему, сколько вам заблагорассудится, – последовал ответ. – Но если серьезно, однажды я расстался с очаровательной девушкой только потому, что узнал, причем совершенно случайно, что у нее был ампутирован палец на ноге. Да, я поступил

жестоко, не спорю, но, если бы я женился на ней, то и сам был бы несчастлив, и сделал бы несчастной ее.

– Ну что же, – с легкой усмешкой произнес Санчер, – выйдя замуж за джентльмена более либеральных взглядов, она отделалась всего лишь перерезанным горлом.

– Ага! Так вы догадались, кого я имел в виду? Да, позднее она вышла замуж за Ментона. Я не знаю, насколько либерален он был в этом вопросе, но не думаю, будто Ментон перерезал супруге горло, обнаружив однажды, что она лишена этого чудесного украшения женщины – среднего пальца правой ступни.

– Эй! Посмотрите-ка на того типа, – внезапно понизив голос, произнес Россер и глазами указал на незнакомца.

Без сомнения, неизвестный жадно прислушивался к разговору.

– Черт побери, какой нахал! – пробормотал Кинг. – Что же нам делать?

– Нет ничего проще, – поднимаясь со своего места, ответил Россер. – Сэр, – продолжал он, обращаясь теперь уже к незнакомцу. – Я полагаю, будет лучше, если вы перенесете свой стул на противоположный конец веранды. Судя по всему, общество джентльменов – непривычная для вас компания.

Неизвестный вскочил на ноги и двинулся ему навстречу со сжатыми кулаками; лицо его побледнело от гнева. Все встали. Санчер сделал шаг вперед и оказался между противниками.

– Вы поступили опрометчиво и несправедливо, – сказал он, обращаясь к Россеру. – Этот джентльмен не сделал ничего, чем бы мог заслужить такую отповедь.

Однако Россер не взял свои слова обратно. В таком случае, по местным традициям и обычаю времени, ссора могла иметь только один исход.

– Я требую удовлетворения, – сказал незнакомец, немного успокоившись. – Я здесь совсем никого не знаю. Может быть, вы, сэр, – обращаясь к Санчеру, продолжал он, – любезно согласитесь быть моим секундантом?

Санчер принял предложение, но, надо сказать, весьма неохотно, поскольку ни внешность, ни манеры этого человека ему не нравились. Кинг, который в течение всей этой сцены не спускал глаз с лица незнакомца, не проронил ни слова, но кивком головы подтвердил готовность действовать от имени Россера. Дуэль была назначена на следующий вечер, и с этим главные участники инцидента удалились. Секунданты остались, чтобы договориться об условиях поединка. Впрочем, нам они уже известны: дуэль должна была состояться на ножах в темной комнате. Поединки такого рода некогда были вполне обычным делом на юго-западе нашей страны, и, похоже, обычай этот до конца еще не умер. Нетрудно заметить звериную жестокость местного кодекса чести, допускавшего подобные схватки.

### III

Летним погожим днем старый дом Ментона ничем внешне не напоминал здание, в котором обитают привидения. Дом крепко стоял на земле, и весь облик его был земным. Солнечные лучи ласкали его горячо и нежно – видимо, и не подозревая о дурной репутации здания. Трава, зеленевшая на всем пространстве перед фасадом, казалось, росла не в беспорядке, но буйствовала в природном и радостном изобилии, а сорняки расцветали всеми цветами радуги. Причудливо изукрашенные игрой света и тени, наполненные птичьим гомоном, заброшенные тенистые деревья теперь уже не старались убежать, но благоговейно склоняли свои кроны под солнечными лучами. Даже лишенные стекол окна верхнего этажа приобрели теперь вид довольный и умиротворенный – вероятно, из-за света, наполнившего внутренние покои дома. На каменных стенах солнечные лучи резвились с живым и радостным трепетом, совершенно не совместимым с той серьезностью, которая, как известно, является неотъемлемым атрибутом сверхъестественного.

В таком виде предстал пустующий дом шерифу Адамсу и двум другим мужчинам, приехавшим из Маршалла для того, чтобы осмотреть его. Один из них, по фамилии Бривер, был родным братом покойной миссис Ментон. В силу закона штата по отношению к имуществу, покинутому владельцем, место пребывания которого неизвестно, шериф также исполнял обязанности официального лица, призванного охранять усадьбу Ментона и все его угодья. Его визит был вызван решением суда, куда мистер Бривер подал прошение о введении его в право наследования имуществом покойной сестры. По совершенно случайному совпадению посещение пришлось как раз на следующий день после той ночи, когда помощник шерифа Кинг открыл дверь этого дома для совершенно иной цели. Нынешний его визит не был добровольным: просто в его обязанность входило сопровождать свое начальство, и в ту минуту он не придумал ничего лучшего, как симулировать полную готовность исполнять приказы.

Небрежно толкнув входную дверь, которая, к его изумлению, оказалась незапертой, шериф вошел внутрь и с удивлением обнаружил на полу в коридоре беспорядочную кучу мужской одежды. В процессе осмотра выяснилось, что она состоит из двух шляп, такого же количества сюртуков, жилетов и галстуков. Все вещи были вполне новыми и годными для ношения, если не считать того, что были перепачканы пылью, в которой лежали. Мистер Бривер был удивлен не меньше шерифа. Что касается чувств мистера Кинга, то, вероятнее всего, они были иного свойства.

Шериф, чрезвычайно заинтригованный новым оборотом дела, открыл дверь из коридора в комнату направо, и все трое вошли внутрь. Судя по всему, комната была пуста, но... нет! Как только глаза их привыкли к сумраку комнаты, в дальнем углу ее они заметили нечто темнеющее на полу. Это была фигура человека – мужчины, скорчившегося и забившегося в угол.

Что-то в его позе заставило вошедших остановиться, едва они переступили порог. Фигура между тем все отчетливее выступала из мрака. Человек стоял на одном колене, спиной привалившись к стене; голова втянута в плечи; руки подняты к лицу ладонями наружу, пальцы растопырены и скрючены, как когти, голова задрана вверх, шея напряжена, на белом лице застыло выражение непередаваемого ужаса, рот полуоткрыт, глаза вылезли из орбит. Он был мертв, мертв, как камень. За исключением ножа, очевидно выпавшего из его рук и теперь лежащего подле него на полу, иных предметов в комнате не было.

В пыли, густым ковром устилавшей весь пол, виднелись беспорядочные следы ног – возле двери и вдоль примыкающей к ней стены. Параллельно другой стене, мимо заколоченных окон, также тянулся след, наверняка оставленный самим человеком, когда он пробирался в угол. Не рассуждая, совершенно инстинктивно, все трое двинулись к труп, старательно придерживаясь того же маршрута, что и неизвестный. Шериф дотронулся до одной из откиннутых рук мертвеца, но она так окоченела, что казалась сделанной не из плоти, а из металла. Когда он легонько потянул ее на себя, все тело подалось вперед, ни на йоту не изменив положения своих частей. Бривер, бледный от ужаса, упорно вглядывался в искаженное лицо мертвеца.

– Боже милосердный! – внезапно вскричал он. – Это Ментон!

– Вы правы, – ответил ему Кинг, пытаясь сохранить хладнокровие. – Я знал Ментона. Прежде он носил густую бороду и длинные волосы... но это он.

Он мог бы добавить: «Я узнал его, когда он вызвал на поединок Россера. Я рассказал Россеру и Санчеру, кто он такой, еще до того, как мы завлекли его в эту чудовищную ловушку. Россер выскочил из комнаты следом за нами. Это он, возбужденный, забыл забрать свое платье, и это он неся с нами по дороге в экипаже в одном нижнем белье... И все время, в течение всей этой истории, мы знали, с кем имеем дело, – с мерзким убийцей и законченным трусом!»

Но господин Кинг не сказал ничего. Сейчас он хотел только одного – проникнуть в тайну смерти этого человека. Здесь была тайна, он чувствовал это, – ведь Ментон так и не двинулся с места, ему указанного; положение его тела не могло сказать определенно, нападал он или защищался; он выронил свое оружие; и наконец, в предсмертной агонии лицо его свела маска

ужаса, словно он увидел нечто такое, что убило его. Эти обстоятельства тревожили господина Кинга загадочностью и заставляли напрягать все силы интеллекта в попытке разгадать их.

Он был в глубоком недоумении, взгляд его механически перебегал от предмета к предмету в тщетной попытке отыскать какую-нибудь зацепку, – и вот он увидел нечто такое, что и сейчас, в присутствии других людей и при свете дня, наполнило его душу ужасом. В густой пыли, которая годами оседала на полу, ясно виднелись отпечатки – три параллельные цепочки следов, которые шли от единственной входной двери и пересекали комнату наискосок, обрываясь в метре от мертвого тела. При свете дня было видно, что следы в центре явно принадлежали женщине, а по сторонам, слева и справа, отпечатки были совсем крошечные – следы детских ножек. Они вели только в одну сторону и там обрывались...

Бривер, который, затаив дыхание, разглядывал эти следы, вдруг сделался мертвенно-бледным.

– Посмотрите! Посмотрите сюда! – закричал он, обеими руками указывая на ближайший к нему след правой ступни женщины, особенно отчетливо отпечатавшийся в пыли. В этом месте она, вероятно, остановилась и некоторое время стояла неподвижно. – Здесь нет среднего пальца... Это Гертруда!

Гертруда – так звали миссис Ментон, сестру господина Бривера.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Элджернон Блэквуд



Элджернон Блэквуд (Algernon Blackwood, 1869–1951) – английский писатель и путешественник, безусловный классик литературы ужасов и жанра «страшного рассказа» первой половины XX века. Он – автор десятка с лишним романов, более двухсот рассказов и повестей, опубликованных в периодике и многочисленных сборниках и антологиях. Всемирную известность принес ему рассказ «Ивы» (The Willows), считающийся одним из лучших произведений жанра художественной мистики. Г.Ф. Лавкрафт видел в Блэквуде своего непосредственного предшественника и восхищался силой его воображения.

Элджернон Генри Блэквуд (таково его полное имя) родился неподалеку от Лондона, в аристократической (хотя и не слишком богатой) семье вдовствующей герцогини (!) Манчестерской и ее второго мужа, сэра Стивенсона Артура Блэквуда, крупного чиновника британского почтового министерства. Интерес к сверхъестественному, как позднее вспоминал сам писатель, пробудил у него школьный учитель, обладавший даром гипноза. В результате юноша решил посвятить себя психиатрии. В Германии, куда Блэквуд попал в возрасте шестнадцати лет, он познакомился с основами индуизма и йоги. Это положило начало его увлечению теософией. В 21 год Блэквуд окончил Кембриджский университет и отправился путешествовать – сначала в Швейцарию, затем в Канаду, где, вдохновленный идеей «естественной жизни на земле», сначала завел ферму и занялся разведением молочного скота, затем, охладев к затее, странствовал по лесам, охотился. Два года спустя одумался (после ссоры с родителями) и вернулся к «цивилизации» – перебрался в Нью-Йорк, устроился репортером в газету. В 1899 году наконец вернулся на родину и здесь, сблизившись с оккультистами (вступил в мистический «Орден Золотой Зари»), вновь увлекся сверхъестественным. Хотя сочинительством он занимался и прежде (прозой и публицистикой), начиная с этого времени главной темой Блэквуда становится связь мира живых и мира потустороннего; он пишет рассказы о привидениях, метемпсихозе и пр. В 1906 году вышел его первый сборник «"Пустой дом" и другие рассказы о привидениях». За ним последовала серия произведений, главным героем которых был детектив-психолог Джон Сайленс, «медик, наделенный необыкновенными способностями». Успех и известность подвигли Блэквуда к решению посвятить себя литературе. Он переезжает в Швейцарию, где живет до 1914 года; здесь сочиняет роман «Кентавр» (The Centaur, 1910), который принято считать его самым сильным произведением. К этому же времени относятся путешествия писателя на Кавказ и в Египет, продиктованные все тем же интересом к оккультному. Когда началась Первая мировая война, Блэквуд вернулся на родину и поступил на службу в британскую военную разведку, а по окончании военных действий вернулся к сочинительству и написал еще немало страшных историй.

Пик известности Блэквуда относится к 1930-м годам, когда его позвали на радио и он стал читать свои рассказы о привидениях на Би-би-си. Вполне вероятно, последнее обстоятельство и заставило Г. Ф. Лавкрафта внимательнее присмотреться к прозе Блэквуда, а затем и влюбиться в его творчество.

*А. Б. Танасейчук*

## Отрубленная кисть

Братья Джилмер – старые холостяки, очень живые, но суетливые; к тому же застенчивые, даже робкие. Они чурались посторонних, избегали компаний, но между собой были весьма говорливы и нежно заботливы.

В красиво подстриженной острой бородке-эспаньолке Джона, старшего из них, заметно пробивалась седина; если бы на голове Уильяма остался хоть клочок волос, то, вероятно, и там густела бы проседь. Но ничто не мешало им быть элегантными и приятными в общении джентльменами.

Братья Джилмер располагали средствами и жили, ничем себя не ограничивая. Тем более что их запросы были скромны, но на двоих имелась одна общая страсть – они собирали скрипки. Редкие и очень дорогие. В этом смысле оба брата обладали выдающимся чутьем, хотя (как ни странно это звучит) ни тот, ни другой не играли. А потому при покупке редкого инструмента им всякий раз приходилось прибегать к услугам третьих лиц – как правило, музыкантов, притом незаурядных, – чтобы убедиться в достоинствах приобретения.

Братья в течение многих лет проживали на верхнем этаже огромного доходного дома, где занимали большую комфортабельную квартиру. Единственное, на что они могли попенять в этом доме, – на старика Моргана, приставленного к лифту и исполнявшего одновременно обязанности привратника: он имел дурную привычку после шести часов вечера надевать ночной колпак при ливрее. Это несоответствие в его одеянии глубоко оскорбляло эстетические чувства братьев и их представления о приличиях. В дополнение к этому огорчению, природа наделила «мистера Моргана», как они называли его между собой, круглым, толстым, расплывшимся лицом. И венчало оно такое же круглое туловище на коротеньких ножках. Однако, из уважения к остальным его положительным качествам, в том числе и глубокой привязанности к ним лично, братья пытались примириться с этой столь досадной для них привычкой старика сочетать ливрею с ночным колпаком.

Кроме этой странной привычки, у Моргана была еще одна не менее странная особенность, немало забавлявшая братьев. Морган, когда ему делали какое-нибудь замечание, никогда не оправдывался и не объяснял причин своей оплошности, а только почти дословно повторял сделанное ему замечание – и тем ограничивался.

– Вода в ванне сегодня утром была нагрета недостаточно, Морган, – замечает ему Джон.

– Вода в ванне сегодня поутру была нагрета недостаточно, сэр!

Или же Уильям, отличавшийся некоторой мелочностью, выговаривает:

– Вчера мне слишком поздно подали мою простоквашу, Морган.

– Вчера вашу простоквашу подали слишком поздно, сэр! – аккуратно повторяет Морган тем же тоном.

Но, так как за этим повтором неизменно следовало исправление оплошности, братья научились довольствоваться таким положением вещей и не требовали от старика никаких разъяснений.

В тот вечер, о котором сейчас пойдет речь, Джон Джилмер возвращался после собрания масонской ложи, членом которой был, и, войдя в лифт, заметил как бы мимоходом:

– Нынче на дворе особенно густой туман.

– Нынче на дворе особенно густой туман, сэр! – повторил Морган.

А на вопрос Джона, не приходил ли кто-нибудь в его отсутствие к брату, Морган доложил, что с час тому назад пришел мистер Хайман и по сию пору еще не ушел.

Хайман, как и братья Джилмер, был большим знатоком скрипок, но кроме того, еще и превосходным музыкантом. В отличие от них, он не ограничивался платонической любовью к редким музыкальным инструментам, а играл на них, и играл виртуозно. Хайман был един-

ственным, кому братья позволяли касаться своих драгоценных скрипок-аристократов со славной родословной. Ему одному позволялось вынимать ценные инструменты из-под стекла витрин, где они покоились в царственном величии, на мягком шелковом плюше, и извлекать из них божественные звуки. Оба брата, разумеется, содрогались, когда руки Хаймана касались их святынь, но вместе с тем упивались певучими звуками своих дивных инструментов. Эти чарующие звуки, эти нежные голоса скрипок доставляли коллекционерам несказанное наслаждение, а также служили для них доказательством, что они не ошиблись в приобретении; что громадные деньги, уплаченные за инструменты, потрачены не зря.

Со своей стороны, Хайман не особенно скрывал ненависть и презрение к коллекционерам, любителям редких инструментов, которые в их руках были только дорогими безделушками. Странно, но сама атмосфера квартиры, казалось, была пропитана каким-то глухим, скрытым чувством взаимной ненависти и злобы в те часы, когда братья Джилмер с восторгом наслаждались игрой Хаймана, а он упивался дивными звуками, которые извлекал смычок из драгоценных инструментов, принадлежащих ненавистным братьям, а не ему, бедному музыканту.

Хайман всегда приходил к братьям только по приглашению, а это случалось нечасто.

В день визита музыканта братья старались оставаться дома. Каждое посещение Хаймана было для них событием, к которому они готовились заранее, как к священнодействию. Поэтому, услышав от Моргана о приходе Хаймана, Джон Джилмер был очень удивлен, тем более что знал: Хайман концертировал где-то на континенте.

– Так вы говорите, что Хайман еще не ушел? – спросил Джилмер.

– Еще не ушел, сэр, – последовал ответ.

Чтобы скрыть от Моргана недоумение, Джилмер стал по привычке жаловаться на безобразное, по его мнению, сочетание ночного колпака с ливреей.

– Вам, право, следовало постараться и запомнить, Морган, что этот ваш головной убор совершенно не подходит к ливрее, – сказал Джилмер.

Выражение расплывшегося лица Моргана не поменялось ни малейшим образом, и он машинально повторил последние слова Джона:

– Совершенно не идет к ливрее, сэр!

Но при этом он все-таки снял и повесил на вешалку ненавистный Джилмеру ночной колпак и заменил его на форменную фуражку с галуном, висевшую тут же, на вешалке в лифте.

В этот момент лифт остановился на верхнем этаже. Лестничная площадка отчего-то была не освещена. Да еще Морган неловко дернул канат, сбил с вешалки свой ночной колпак и, пытаясь подхватить его на лету, задел рукавом лампочку в лифте. Все кругом немедленно утонуло во мраке. Джон решил выйти из лифта, не дожидаясь, пока Морган восстановит освещение, но чуть было не упал, споткнувшись о нечто, шмыгнувшее у него между ног и стремительно кинувшееся в лифт. В первую минуту Джилмер подумал, что это ребенок; затем ему показалось, что это мужчина; но затем он все же пришел к убеждению, что это какое-то животное – его движения были быстры, стремительны и совершенно бесшумны.

Инстинктивно отступив назад, желая освободить дорогу, Джилмер впотьмах наткнулся на Моргана, который испуганно вскрикнул. Наступила минута общей растерянности, и в этот момент Джилмер почувствовал, что кабина лифта дрогнула, точно кто-то, вскочив внутрь, тотчас вновь выскочил. Вслед за этим послышался шуршащий звук торопливых шагов – будто кто-то бежал вниз по лестнице в мягких войлочных туфлях или в одних чулках, крадучись, как кошка.

Когда Морган выскочил на площадку и, поправив лампочку, осветил лестницу, а Джилмер восстановил освещение в лифте, нигде никого не было.

– Собака или кошка, или что-нибудь в этом роде, я полагаю... не правда ли? – сказал Джилмер, выходя из лифта и осматривая совершенно пустую лестницу.

– Собака или кошка, сэра, или что-нибудь в этом роде, – эхом отозвался Морган растерянно.

– Лампа на площадке должна была гореть, – строго заметил Джилмер.

Этот странный случай нарушил обычное для него душевное равновесие; он почувствовал невольное раздражение, досаду и смутное беспокойство.

Так как Морган молчал и, против обыкновения, не повторил сказанной фразы, Джилмер взглянул на него и заметил, что старик не только смущен, но и очень бледен. Когда он наконец заговорил, голос его звучал неуверенно и робко:

– Лампочка на площадке горела, сэра, когда я был здесь в последний раз; я не знаю, кто ее загасил, уверяю вас, сэра!

По тону было понятно, что он говорит правду и недоумевает, кто мог погасить свет на лестничной площадке. Однако Джилмер, которого это обстоятельство изрядно смутило, предпочел промолчать.

Лифт нырнул вниз, точно водолазный колокол, пущенный на дно моря. Джилмер постоял еще минуту на площадке, стараясь разобраться в мыслях и ощущениях, а затем, открыв дверь своим ключом, вошел в квартиру. Оставив в прихожей шляпу и пальто, он проследовал в гостиную, слабо освещенную настольной лампой и затухающим огнем камина.

Декабрьский туман, казалось, проник и сюда, в эту большую комнату, и все предметы в ней будто тонули в холодной полумгле, отчего и сама комната казалась особенно большой и пустынной.

\* \* \*

В халате и туфлях, Уильям Джилмер сидел в большом глубоком кресле у камина. Увидев брата, он сразу заговорил. При этом в голосе слышалось волнение и странное возбуждение, которое он – это было заметно – силится подавить и скрыть.

– Знаешь, здесь был Хайман, – заявил он, – да ты должен был столкнуться с ним на площадке; он с минуту назад вышел из квартиры.

Джон сказал брату, что никого не видел (и это была правда), но на Уильяма его слова произвели странное впечатление. Джон заметил, что тот напряженно выпрямился в своем кресле, а лицо его сделалось бледнее обыкновенного.

– Странно, – сказал он нервно, – очень странно, что ты его не видел. Вы должны были столкнуться нос к носу на лестничной площадке или в дверях квартиры. – Глаза его беспокойно забегали по комнате; ему, видимо, было не по себе. – Ты совершенно уверен, что никого не видел? Разве Морган успел опустить его раньше, чем ты поднялся вверх? Морган его видел? – торопливо забрасывал Уильям брата вопросами.

– Морган сказал мне, что Хайман еще не ушел; вероятно, он предпочел спуститься по лестнице и наверх лифта не вызывал. Этим, должно быть, и объясняется, что ни я, ни Морган его не видали... – добавил Джон, решив ничего не говорить брату о странном случае в лифте; он видел, что нервы Уильяма и без того напряжены. Но, несмотря на успокоительный тон ответа, Уильям поднялся на ноги. Его бледное лицо приобрело землисто-серый оттенок, будто у мертвеца. Несомненно, он боролся со смертельным страхом, охватившим все его существо. С минуту братья молча смотрели друг на друга, затем Джон заговорил:

– Что случилось, Вилли? – спросил он нарочито спокойно. – Я вижу, что здесь что-то произошло. Скажи мне, в чем дело? Что это так неожиданно привело сюда Хаймана?

Связанные с детства самой нежной братской любовью, Джон и Вилли без слов понимали друг друга. Положительно они ничего не могли утаить один от другого. До сих пор у них никогда не было секретов, но на этот раз младший брат долго не решался ответить на вопрос старшего – может быть, потому что подыскать нужные слова ему было нелегко.

– Вероятно, Хайман играл на одном из наших инструментов? – спросил Джон.

Вместо ответа Уильям утвердительно кивнул головой и затем вдруг заговорил: быстро, вполголоса, словно опасаясь, что его могут подслушать. При этом он оглянулся через плечо в глубь тонувшей в полумраке гостиной, схватил Джона за руку и привлек его к себе.

– Да, Хайман был здесь; он явился неожиданно, не предупредив о своем посещении; я его не звал, и ты его тоже ведь не звал, иначе ты сказал бы мне об этом, не правда ли?

– Ну конечно, – подтвердил Джон.

– И представь себе, – продолжал Уильям, – я встретил его в коридоре, когда после обеда вышел из столовой и хотел перейти в гостиную. Прислуга убирала со стола, а он вошел без звонка, никем не замеченный; вероятно, дверь на лестницу была открыта, но все же так бесцеремонно войти...

– Он вообще большой оригинал, – заметил Джон, пожав плечами. – Что же дальше? Ты пригласил его в гостиную?

– Ну да... Я предложил ему войти, а он сказал, что пришел, чтобы исполнить одно великолепное произведение Зелинского, которое автор играл в этот самый день на дневном концерте. И еще он сказал, что Страдивари Зелинского не может с достаточной силой передать всю красоту этой вещи, потому что у него дисканты слишком тонки. Хайман утверждал, что ни один инструмент в мире не передает во всей полноте красоту этой музыки так, как наш маленький Гварнери; он клялся, что это самая совершенная скрипка в мире.

– Ну, и что же это была за вещь? Он ее исполнил? – спросил Джон, в душе которого беспокойство усиливалось по мере того, как росло любопытство. С невольной тревогой он взглянул на стеклянную витрину на резной ореховой этажерке, где обыкновенно хранился Гварнери, и с облегчением увидел, что драгоценный маленький инструмент покоится на своем месте.

– Да, он сыграл ее. И сыграл великолепно. Это была цыганская колыбельная песня; чудесная, певучая, страстная, местами даже бешено страстная импровизация, полная вдохновения, порыва и томления, полная неги и огня. Не понимаю, почему она названа «Колыбельной песней»... И представь себе, Джон, куда он играл эту вещь, он беспрерывно ходил на цыпочках по комнате, неслышно двигаясь по ковру, точно тень.

А звуки лились, упоительные, чарующие, я бы сказал даже – опьяняющие. Он все время жаловался, что его раздражает свет. Он говорил, что эта вещь сумеречная и для полнейшего эффекта ее следует слушать в полумраке едва освещенной комнаты. Он гасил одну лампочку за другой, пока мы не остались при свете одного только огня в камине. А кроме того, он заставил меня уступить ему еще в одном: он натянул на скрипку какие-то особые привезенные им струны; они были несколько толще, чем наши.

– Дьявольская наглость! – воскликнул Джон, возмущенный тем, что он услышал от брата. – Но играл он все же хорошо, ты говоришь? – добавил он, увидев, что Уильям улыбается.

– Великолепно!.. Несравненно, положительно гениально! – восторженно отозвался брат, почему-то понизив голос чуть не до шепота. – Так он никогда не играл! Сколько огня! Порыва! Бешеной силы урагана и какой-то предательской нежности... А какое стаккато! Знаешь, были ноты поющие, точно звуки флейты или свирели... чистые, мягкие, ласкающие, уносящие в небеса... А какая тональность!.. Боже мой, какая тональность! Если бы ты только мог это слышать... В верхнем регистре звук поразительно бархатистый, сладостный... Ах, Джон, этот наш маленький Гварнери положительно несравненный инструмент! – Уильям опять на минуту замялся. – И Хайман тоже был от него в восторге... Знаешь, мне кажется, что он готов был бы продать душу свою за эту скрипку!..

Чем дольше Джон слушал брата, тем больше ему становилось не по себе. Он никогда не любил Хаймана, всегда опасался и не доверял ему, а иногда даже будто и боялся. Уже самый нрав его – настойчивый и бесцеремонный – не мог быть приятен таким деликатным, можно сказать, даже робким людям, как братья Джилмер. А кроме того, и самая внешность Хаймана,

его темное смуглое лицо, черные, глубоко посаженные глаза, его густые черные волосы и непрелюбимая воля, ясно выраженная в линии подбородка, – все это, взятое вместе, не привлекало к нему симпатий Джона. Сверх всего, Хайман был еще и суеверен, а Джон от всей души ненавидел суеверия – быть может, потому, что ему никак не удавалось искоренить эту черту в своем собственном характере. Хайман упорно верил в существование некоего флюида, который, по его мнению, составляет неотъемлемую часть человеческой личности, точнее – души. Он был уверен, что этот флюид может отделяться от человека и под влиянием воли способен не только перемещаться на далекие расстояния, но и материализоваться. Это «астральное тело» могло, по мнению Хаймана, принимать, в зависимости от воли человека, любой образ и любую форму, в том числе и облик животного...

– Жаль, что я не слышал, как он играл, – сказал Джон после продолжительной паузы. – А каким он смычком играл? Тем, наверное, что я разыскал у антиквара месяц тому назад? – спросил Джон. – Мне кажется, это лучший смычок, какой я когда-либо держал в руках, не говоря...

Он не окончил фразы, встревоженный тем, что Вилли вдруг поднялся со своего места: казалось, он искал кого-то глазами в комнате.

– Что такое, Вилли? Тебе что-нибудь послышалось?

Младший Джилмер еще с минуту молча вглядывался в полумрак дальних углов комнаты, а затем сказал странно изменившимся голосом:

– Нет, вероятно, это мне только показалось; очевидно, ничего нет, но... у меня почему-то все время такое чувство, будто мы с тобой не одни... будто нас кто-то подслушивает. Ты не думаешь, Джон, – добавил он, оглядываясь на дверь, – что там, в прихожей, может быть, кто-то есть? Я хочу, чтобы ты посмотрел.

Джон молча исполнил желание брата. Он медленно направился к двери, открыл ее и зажег в коридоре электричество. Там было пусто. Верхнее платье и шляпы неподвижно висели на вешалке; словом, было все, как всегда, – без изменений.

– Ну конечно, никого! – заявил Джон, затворяя двери. Но свет в коридоре оставил.

Он вернулся на прежнее место у камина и, хотя вслух ничего не сказал, вдруг так же, как и брат, ощутил присутствие кого-то или чего-то постороннего.

– Так каким же он смычком играл, Вилли? – снова спросил Джон.

Хотя он говорил совершенно естественно и спокойно, именно в этот момент им овладело странное, даже жуткое чувство: он понял, что брат хочет сказать ему нечто очень важное, возможно – главное, о чем он до сих пор умолчал. Теперь же хочет сказать и не решается, словно боится кого-то или чего-то.

Невероятным усилием Джон остался сидеть на своем месте. С рассчитанной медлительностью он раскурил сигару, не спуская глаз с лица брата. Уильям сидел перед камином, опустив глаза, и перебирал пальцами красные кисти своего халата; свет лампы бросал причудливую тень на его лицо. По его выражению Джон понял, что брат хочет сообщить ему нечто необычайное, невероятное, чудовищное.

Чтобы облегчить ему задачу, Джон подошел к Вилли совсем близко, склонился над ним и, приготовившись слушать, сказал ласково:

– Ну что же, старина? – Он постарался придать голосу шуточный тон. – Начинай, я слушаю.

– Видишь ли, – заговорил наконец Вилли, – все было как сейчас; только я не сидел в кресле, а стоял у камина и смотрел в сторону двери; Хайман плавно двигался взад и вперед по ковру, и при свете огня в камине его фигура выделялась причудливым силуэтом на фоне дальней стены комнаты. Он с увлечением играл эту, как он ее называл, «сумеречную вещь», и играл как-то особенно вдохновенно... так, что мне казалось, будто поет не скрипка в его руках, а самая душа его поет, как скрипка. И вдруг я почувствовал, что со мной происходит нечто

странное... чего я не мог приписать действию музыки... – добавил он почти скороговоркой, понизив голос.

– В комнате точно стоял туман, – продолжал он, – света было мало, и он струился снизу. Все это я принимал во внимание, однако свет был недостаточно силен, чтобы дать тень, как ты понимаешь...

– Ты хочешь сказать, что Хайман тебе казался странным... да? – подсказал брату Джон, с нетерпением ожидая услышать самую суть рассказа.

Брат утвердительно кивнул головой.

– Да, вид его изменился до неузнаваемости; он преобразился на моих глазах... превратился в животное... представь себе!

– В... живот... ное? – повторил Джон, почувствовав при этом, что волосы у него на голове зашевелились и встали дыбом.

– Да, я не могу иначе передать тебе того впечатления, – продолжал Уильям шепотом. – Понимаешь, его руки, лицо и все его тело – словом, весь его внешний облик стал иным; движения сделались совершенно беззвучными; я перестал слышать его шаги... Когда рука, державшая смычок, или пальцы левой его руки попадали на минуту в полосу света, я видел ясно, что они были покрыты шерстью, как лапы животного, и пальцы не были разделены и свободны, как у нас... Мне казалось, что он вот-вот выронит скрипку на пол и прыгнет на меня через всю комнату, как пантера или дикая кошка.

– Ну, и что дальше?.. – прошептал Джон.

– Он все время ходил взад и вперед длинными, крадущимися шагами, как в зоологическом саду крупные хищники ходят вдоль решетки своей клетки, когда в них пробуждается желание пищи или свободы, которой они лишены, или иная какая-нибудь сильная страсть...

– Ты хочешь сказать, что он походил на одну из крупных кошек – тигра, барса, ягуара или пантеру? – едва слышно спросил Джон.

– Да, да... и, двигаясь безостановочно вдоль комнаты, он все время незаметно приближался к двери, словно собираясь шмыгнуть в нее и скрыться.

– Со скрипкой! – отчаянным возгласом вырвалось у Джона. – Ты, конечно, помешал этому?

– Да... но не сразу... Клянусь тебе, что я долгое время совершенно не мог сообразить, что мне делать... На меня нашло какое-то оцепенение... Я не мог шевельнуться, у меня пропал голос, и я не мог вымолвить и слова, а тем более крикнуть... Я был точно заколдован...

– Да ты и действительно был заколдован! – подтвердил Джон.

– И по мере того как он ходил, продолжая играть, мне стало казаться, что он делается все меньше и меньше ростом, и я испугался, что скоро совсем перестану его видеть в полумраке гостиной. С этой мыслью я кинулся к выключателю и зажег свет. В этот момент я увидел, как он пробирается ползком к двери... Он походил одновременно на побитую собаку и на кошку, что подкрадывается к добыче.

– Значит, он играл, стоя на коленях?..

– Нет... но он как-то припал к полу и словно полз. По крайней мере, мне так казалось. Я был так озадачен и до того растерялся, что едва верил своим глазам. Но все же я готов поклясться, что в этот момент он был наполовину меньше своего нормального роста. А когда я наконец довольно резко окликнул его или даже, кажется, выругался – помню ясно, что он сразу поднялся на ноги, выпрямился и стоял передо мной с горящими глазами и лицом белым, как мел. Он весь был в поту, точно стоял жаркий июльский день. Затем, прямо на глазах, он стал расти, постепенно принимая естественный свой вид.

– И в это время он все еще сохранял звериный облик? – спросил Джон.

– Нет, с того момента, как поднялся на ноги, он принял человеческий образ, только был очень мал.

– А что он говорил?

Уильям Джилмер на минуту задумался, затем продолжал:

– Ничего, кажется... Я положительно не помню, чтобы он что-нибудь говорил. Ведь все это произошло в несколько секунд при ярком свете. В первый момент мне было странно видеть его в естественном виде. Прежде чем я успел прийти в себя, он уже вышел в коридор, и я услышал, как за ним затворилась дверь; почти в ту же минуту вошел ты. Помню только, что, увидев Хаймана на полу, я кинулся к нему, выхватил скрипку и держал ее крепко обеими руками до тех пор, пока он не оказался за дверью. Тогда я пошел и положил инструмент на место. Струны еще вибрировали, когда я опустил стекло витрины.

Наступила длинная пауза. Каждый из братьев думал о своем. Наконец Джон произнес:

– Если ты ничего не имеешь против, Вилли, то я, пожалуй, напишу Хайману, что в его услугах мы больше не нуждаемся.

С этим Уильям согласился, но, помедлив минуту, попросил нерешительно:

– Напиши, но только так, чтобы он не обиделся.

И старший Джилмер подумал, что Вилли, пожалуй, боится.

– Ну, само собой! Зачем раздражать его резкостью или грубостью; в этом нет никакой необходимости.

На другой день поутру письмо было написано, и, не сказав о том ни слова брату, Джон сам отнес его на квартиру Хайману. Здесь он узнал то, чего смутно опасался: привратник сказал, что мистер Хайман еще не вернулся из заграничной поездки, но письма ему пересылаются аккуратно по оставленному адресу...

Оставив письмо у привратника, Джон Джилмер зашел в страховое общество, где братья страховали свои драгоценные инструменты, и увеличил сумму страховки маленького Гварнери – на случай порчи, пожара, пропажи или иного несчастного происшествия. Затем он заглянул в крупное музыкальное агентство, поддерживавшее постоянное сношение с артистами, исполнителями, певцами и импресарио – словом, с музыкальным миром всех стран. Тут он узнал, что Зелинский в данное время концертирует в Барселоне, в Испании, а спустя несколько дней Джон Джилмер случайно прочитал в одном из музыкальных обзоров в газете, что виртуоз Зелинский исполнял такого-то числа в Мадриде на дневном концерте превосходную «Цыганскую колыбельную песнь» собственного сочинения. Оказалось, это был тот самый день, когда Вилли слушал эту колыбельную в исполнении Хаймана у себя на квартире!

Но обо всем этом Джон ничего не сказал брату, оберегая его спокойствие.

\* \* \*

Спустя неделю пришло письмо от Хаймана. Это был ответ на письмо Джона. Оно было написано обидным тоном, хотя и не содержало ни одного резкого выражения. Ясно было, что Исидор Хайман раздражен и уязвлен. Он писал, что по возвращении в Англию – приблизительно через месяц – зайдет к ним, чтобы прояснить вопрос. По-видимому, он был уверен, что сумеет убедить братьев возобновить прежние отношения.

Чтобы пресечь такого рода попытки, Джон написал Хайману, что они с братом решили не приобретать больше инструментов и считать свою коллекцию завершенной, а потому у них не возникнет более надобности беспокоить его.

На это письмо уже не последовало никакого ответа, и дело могло казаться исчерпанным. Но Джон Джилмер был уверен в том, что по возвращении в Англию Хайман обязательно зайдет к ним для объяснений, как и обещал. Во избежание нежелательного визита Джон предупредил Моргана, чтобы впредь, когда бы мистер Хайман ни пришел, привратник неизменно говорил ему, что братьев Джилмер нет дома.

– Вероятно, Хайман, после того как побывал у нас, в тот же вечер вновь уехал за границу, – заметил Уильям.

Джон ему не возразил, и разговор о Хаймане более не возобновлялся.

\* \* \*

Как-то – это было в последних числах января – братья Джилмер вернулись поздно вечером с концерта и засиделись дольше обыкновенного в своей гостиной за сигарами и виски, обмениваясь впечатлениями о концерте. Было уже два часа ночи, когда они наконец погасили электричество в коридоре, намереваясь разойтись по своим спальням. На дворе стояла сухая, морозная ночь; луна светила прямо в окно коридора.

Братья пожелали друг другу покойной ночи и отправились в свои комнаты. Их спальни размещались в противоположных концах коридора и разделялись ванной, уборной, столовой и кабинетом.

Спустя полчаса оба спали крепким сном. В квартире царила полнейшая тишина; только с улицы проникал смутный гул ночного города. Луна, медленно опускаясь, достигла уровня труб и заглянула в окна комнат. Вдруг Джон Джилмер проснулся и резко сел на кровати, точно внезапно кем-то разбуженный. В испуге он прислушался и понял, что кто-то ходит там, в одной из комнат между его спальней и спальней брата. Джон не мог объяснить, откуда взялось это чувство страха: никакой кошмар ему не снился, а между тем он был уверен, что страх этот не беспричинен. Он сознавал, что проснулся от присутствия постороннего, и знал, что сейчас какое-то существо неслышно двигается по квартире.

Повторим: по своей натуре Джон Джилмер был человеком робким, и вид грабителя в черной маске с револьвером в руке, вероятно, лишил бы его всякой решимости. Но инстинкт подсказывал ему, что в доме не грабитель, а то мучительное чувство, что он сейчас испытывал, – не обыкновенный физический страх. Он был уверен, что существо, проникшее в квартиру, прошло совсем близко от его кровати, прежде чем направиться в другие комнаты. Вероятно, оно прокралось затем в комнату Вилли, чтобы убедиться, что и он спит.

Не странно ли, что одного присутствия этого существа в комнате было достаточно, чтобы Джон проснулся в холодном поту с безотчетным ужасом в душе? Мало того, он чувствовал всем своим существом: это нечто недоброе. Мысль о том, что, быть может, в этот момент оно в комнате брата, заставила Джона встать с постели и со всей решимостью, на какую он только был способен, направиться к двери.

Осторожно выглянув в коридор, тонувший во мраке ночи, он стал на цыпочках пробираться вдоль стены. На стене, в качестве украшения, на ковре было развешено старинное оружие, некогда принадлежавшее их отцу. Нащупав рукой кривой ятаган без ножен, Джон крепко вцепился пальцами в рукоятку и, бесшумно сняв его со стены, направился в гостиную, где хранились драгоценные скрипки. Дрожь пробирала его сквозь наскоро накинутый халат; глаза ломило от напряжения, с которым он силился разглядеть хоть что-то впотьмах. Перед закрытой дверью гостиной он с минуту поколебался, не решаясь отворить. Приложив ухо к дверной скважине, прислушался. В комнате слышался легкий, едва уловимый шорох осторожного движения; и вдруг раздался явственный, хотя и слабый звук струны, точно кто-то дотронулся до нее пальцем, желая попробовать тон.

Решительным движением Джон распахнул дверь и включил свет. Звук струны еще дрожал в воздухе. Джилмер почувствовал, что в момент, когда он переступил порог, здесь что-то происходило. Но едва он вошел, все замерло. Явись секундой раньше, он накрыл бы того, кто здесь хозяйничал. В воздухе словно повис невидимый след неких движений, неслышных, как полет летучей мыши. Джон чувствовал: стоит ему уйти, и здесь точно так же все вновь зашевелится, замечется, и начнется настоящий бесовский шабаш.

Впрочем, нечто в комнате не успело застыть в неподвижной позе; оно двигалось, правда, едва заметно. Под окном, за занавесью из тюля, подле шкафов, в которых хранились скрипки, это нечто шевелилось – кралось, низко припав к полу, осторожно пробираясь к двери. Именно в тот момент, как Джон заметил это, это «что-то» застыло на месте.

У Джилмера на лбу выступил холодный пот, и по спине дрожь пробежала. Он знал, что именно это «нечто» заставило его проснуться и поселило в душе леденящий страх.

Сжимая рукоять ятагана, он осторожно начал отступать к стене, не спуская глаз с того, что внушало ему ужас. Движения существа не походило на движения человека, скорее напоминали животное. В голове Джона мелькнул сначала образ ящерицы, затем крупного хищника – и наконец, большой змеи. В данный момент существо не двигалось, но в той части комнаты, где оно притаилось за занавесом, царил полумрак. Джилмер решил дополнительно засветить еще и настольную лампу, стоявшую рядом, – но, когда щелкнул кнопкой, загадочное существо рванулось вперед, прямо на него. В этот момент (странно, кажется, даже вспоминать о такой маловажной подробности) Джон подумал о своих босых ногах и страшно испугался при мысли, что это внушающее ужас существо может их коснуться. Он заскочил с ногами на стул и принялся размахивать вокруг себя ятаганом, преграждая таким образом доступ к стулу. С «высоты» своего положения он имел возможность разглядеть две вещи, которых раньше не мог видеть: во-первых, стекло витрины, где хранился Гварнери, было поднято, а сама скрипка лежала на краю полки, словно ее второпях попытались вернуть на место. А во-вторых, существо не просто двигалось, но постепенно вытягивалось вверх и принимало вертикальное положение. Вернее, почти вертикальное; оно скорее напоминало животное на задних лапах, нежели человека.

Теперь оно быстро, но совершенно беззвучно приближалось к Джилмеру с явным намерением добраться до двери и бежать. Страх и чувство неодолимого отвращения туманили сознание Джона и мешали ему ясно видеть происходящее вокруг. Но все же он достаточно владел собой, чтобы не утратить способности действовать, и в тот момент, когда странное существо приблизилось на дистанцию удара ятаганом, оружие с такой силой просвистело в воздухе, что могло бы снести голову любому – при условии, конечно, что удар достигнет цели. Но бешеные удары не только ни разу не задели врага, но заставили Джилмера потерять равновесие. Он рухнул вместе со стулом на пол, прямо на странное существо, которое упало одновременно с ним. Вместо того, чтобы вскочить на ноги, как сделал Джилмер, оно, напротив, припало к полу, съежилось и приняло облик животного на четвереньках. Падая, Джилмер невольно вскрикнул, но не выпустил из рук оружия и, споткнувшись об опрокинутый стул, побежал следом за существом в коридор, продолжая размахивать ятаганом направо и налево. Теперь он отчетливо видел в дальнем конце коридора силуэт мечущейся из стороны в сторону большой кошки.

Дверь на лестницу была закрыта. Джон успел-таки нанести несколько жестоких ударов по бегущему существу в тот самый момент, когда оно со всех ног кинулось к выходу, надеясь вырваться наружу... И это ему удалось, к величайшему недоумению Джилмера. Как оно это проделало, он не понял. Только услышал крик – пронзительный и болезненный, – раздавшийся подле него. Да и тот прорвался будто сквозь пелену; Джон не мог понять, кто же, собственно, кричал – существо или он сам.

Оставшись один, он пришел в себя и увидел, что дверь на лестницу приотворена. Каким образом странному существу удалось открыть ее, Джилмер не мог объяснить.

– Как она выскочила? Разве дверь не была закрыта? – раздался рядом голос младшего брата.

Разбуженный криком Джона при падении, Уильям накинул халат, сунул ноги в туфли и выбежал в коридор – в тот самый момент, когда нечто похожее на большую кошку ринулось к двери.

– Не понимаю! – отозвался Джон. – Я уверен, что дверь была закрыта.

Уильям остался стоять в раздумье перед приоткрытой дверью и почему-то не решался ее запереть. Голос брата заставил его обернуться.

– Поди сюда, Вилли... Посмотри: мне кажется, на клинке кровь... – Голос Джона заметно дрожал, говорил он неуверенно, хотя и старался казаться спокойным и подавить нервную дрожь, вызванную новым открытием.

Уильям зажег электричество в коридоре, подошел к брату и взглянул на клинок.

Без сомнения, на нем были видны следы крови.

– Да... а... я вспоминаю теперь, – сказал Джон, не дождавшись подтверждения брата, – я вспоминаю, что оно вскрикнуло... Я его задел, вероятно. Любопытно... Любопытно узнать, сильно я его... или только слегка?..

– Несомненно, ты его полоснул, – подтвердил младший брат. – Я тоже слышал, как оно взвизгнуло. Надо запереть дверь, – добавил он, направляясь к ней, и вдруг остановился, наклонился и воскликнул: – Джонни, а это что такое?! Вот здесь, на полу?.. Чья-то отрубленная лапа, если я не ошибаюсь... и заметь, какие длинные у нее пальцы... точно у человека... Знаешь, я как будто видел такую лапу прежде... помнишь, тогда... в тот вечер... вот такие же были руки у Хаймана... когда он играл... – я тебе говорил... – помнишь?

– Да, да... – Джон утвердительно кивнул, не спуская глаз с отрубленной лапы на полу.

Спустя немного времени Вильям хрипло проговорил:

– Оставим ее здесь; утром прислуга уберет... Пойдем спать; или нет, я все равно теперь не засну. Пойдем лучше к тебе в комнату, я расскажу все, что здесь произошло, и еще кое-что, чего ты еще не знаешь... Ведь Хайман опять приходил за скрипкой!

\* \* \*

На другой день после бессонной ночи братья Джилмер вместе вышли из дому и направились в ту часть города, где жил Хайман.

От привратника они узнали, что мистер Хайман еще не вернулся и что теперь едва ли скоро вернется, потому что всего с полчаса назад пришла телеграмма из Парижа, извещающая, что вчера ночью с мистером Хайманом произошел несчастный случай, вследствие которого он лишился левой руки; теперь он лежит в клинике и едва ли скоро поправится.

Братья переглянулись, и на их лицах отразился безумный ужас.

Едва слышно они поблагодарили привратника и быстрыми шагами удалились.

В этот день ни Джон, ни Уильям не заметили, что Морган снова надел свой излюбленный ночной колпак, хотя и был при ливрее. Они думали только о том, как бы им избавиться от неотвязной, щемящей мысли о Хаймане. Они страстно желали совершенно забыть о нем, забыть о его существовании, и в глубине души каждый про себя желал, чтобы Хайман не поправился.

*Перевод Андрея Танасейчука*

## Египетский шершень

Шершень! В звуках этого слова есть нечто грозящее, злобное, что живо рисует в нашем уме образ нападающей твари. Внутри него точно спрятано жало, – даже иностранец, незнакомый с его значением, может почувствовать это. Шершень всегда зол; он стремительно налетает и жалит; он атакует без причины, целясь в лицо и глаза. И гудение крыльев, подобное звону металла, и яростный полет, и ядовитый укус – все угадывается уже в самом его имени. Оно кажется кроваво-красным, хотя настоящие шершни желтые с черным. Полосатый воздушный тигр – вернее, квинтэссенция тигра! Если он нападет, от него не спасешься.

В Египте и обычные пчелы величиной не уступают крупным английским осам, а уж местный шершень – это просто чудовище. Такой способен перепугать до смерти. Земля Сфинкса и Великих пирамид рождает гигантов, и он под стать любому из них: жуткое насекомое, хуже скорпиона или тарантула. Впервые встретившись с образчиком этой породы, преподобный Джеймс Миллиган понял смысл другого слова, которое часто использовал в своих красноречивых проповедях, – слова «дьявол».

Как-то апрельским утром, когда тепло стало выманывать насекомых из ночных укрытий, он проснулся в обычное время и по широкому мощенному камнем коридору направился в ванную. За открытыми окнами уже сверкали под солнцем песчаные дюны. Ближе к полудню жара обещала сделаться изнурительной, но в этот ранний час гостиницу насквозь продувал северный ветерок, навевая приятную прохладу. День был воскресный; в половине девятого пастор собирался провести утреннюю службу для постояльцев-англичан. Сквозь тонкие подошвы ярко-желтых арабских туфель он ощущал холод каменных плит у себя под ногами. Он был не слишком юн и не слишком стар, получал неплохое жалованье, более чем достаточное для его нужд (жены и детей у Миллигана не было); врачи рекомендовали ему здешний сухой климат, а жизнь в отеле обходилась дешево. И он был вполне доволен собой – холеный, напыщенный, надутый ханжа, столь же заурядный, как подвальная крыса. Никакие заботы не тревожили его, когда с полотенцем и губкой, душистым мылом и бутылочкой ароматических солей он благодушно шествовал в ванную через пустой коридор, залитый солнцем. Все было отлично, пока преподобный Джеймс Миллиган не открыл дверь и взгляд его не упал на некий подозрительный темный предмет, висящий на окне.

Но и тут он не испытал поначалу ни беспокойства, ни страха – ничего, кроме понятного любопытства: что за странная штука висит с деревянной рамы напротив него, в шести футах от его орлиного носа? Он шагнул к ней, чтобы рассмотреть поближе, – и замер как вкопанный. Его сердце забилось с частотой, непривычной для столь солидной духовной особы. Губы сложились в немислимую гримасу.

– Господи! Это еще что? – с трудом выдохнул он.

Нечто пугающее, гнусное, как тайный грех, висело перед его глазами в ярких утренних лучах. Он едва перевел дух.

Секунду-другую он не двигался с места, будто замороженный увиденным. Потом осторожно и очень медленно – крадучись, вернее сказать, – отступил к двери, через которую недавно вошел. Стараясь не шуметь, он пятился на цыпочках. Желтые шлепанцы скользили по полу. Губка упала, покатилась вперед и остановилась прямо под страшным, но притягательным предметом, на который он смотрел. В дверном проеме, зная, что теперь за спиной безопасное пространство и путь для бегства открыт, он помедлил и вгляделся пристальней. Вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Да, перед ним был шершень. Неподвижный и угрожающий, он расположился как раз между Миллиганом и входом в ванную комнату. Сперва пастор только и мог, что полусшепотом воскликнуть:

– Боже милостивый! Египетский шершень!

Но будучи, по общему мнению, решительным человеком, он быстро взял себя в руки. Что-что, а владеть собой он умел. Когда прихожане покидали церковь в самом начале службы, ни один мускул на его лице не вздрагивал, выдавая, как это ранит его самолюбие, какая гневная буря бушует у него в сердце. Однако шершень, сидящий у вас на дороге, – дело совсем иное. Миллиган всей кожей чувствовал, что легкая одежда почти не прикрывает его и не спасет от укусов.

Держась поодаль, он тщательно изучал дьявольского гостя. Тот был по-прежнему неподвижен и тих. Удивительно красивое насекомое, что спереди, что сзади. На спине сложены длинные изогнутые крылья с острыми краями – острыми, как соблазн. В этом грациозном существе была какая-то ядовитая прелесть. Черное туловище лоснилось на солнце, желтые полосы сверкали, как украшения тех обольстительных грешниц, которых он громил в своих проповедях. Ему даже почудилась танцовщица на сцене. Но вдруг это впечатление исчезло, сменившись другим – образом тупой и жестокой силы, созданной, чтобы убивать. Точное тело, плотное, суженное книзу, привело его на память орудия, что используются в разрушительных войнах: торпеды, бомбы, снаряды, полные гибельной мощи. И крылья, и страшная голова, и тонкий перехват талии, и блестящие шафранные полосы – все напоминало самые мерзкие из людских изобретений, приукрашенные снаружи, дабы их смертельная суть не бросалась в глаза.

– Тыфу ты! – ругнулся он, устыдившись своей неумной фантазии. – В конце концов, это всего-навсего шершень. Букашка зловердная, больше ничего!

Второпях он принялся обдумывать план. Хотел использовать вместо оружия полотенце, уже свернул его в комок, но не бросил. Что если он промахнется? Он помнил, что его лодыжки ничем не защищены. И снова он застыл у дверей, разглядывая черно-желтое чудище с приличного расстояния (когда-нибудь он надеялся вот так же созерцать мир, уйдя на пенсию и поселившись в деревне). Страшное существо не шевелилось. Оно не издавало звуков. Крылья оставались сложенными. Даже черные усики-антенны, слегка утолщенные на концах, ни разу не дрогнули. Но насекомое дышало. Миллиган видел, что оно приподымается и опадает, втягивая и выпуская воздух, как и он сам. У этой «букашки» есть легкие, сердце, прочие органы... У нее есть мозг! Разум, который безостановочно работает, следит за происходящим – и выжидает. В любую секунду, с сердитым гудением и прицельной точностью, шершень может ринуться в атаку. А уж если швырнуть в него полотенцем и промазать, он непременно нападет.

В том крыле гостиницы были и другие жильцы; услышав шаги, Миллиган решил поторопиться. Не пропускать же свою очередь в ванную! Ему было стыдно за собственную трусость, которую он назвал бы более вычурным словом – «малодушие», если бы говорил с кафедры. Со всеми предосторожностями он добрался до внутренней дверцы, проскользнув так близко к опасному месту, что его бросило в жар и в холод. Выставил ногу далеко вперед, потянулся за губкой и подобрал ее. Шершень не двигался. Но он знал, что человек только что прошел мимо, и просто выжидал. Все ядовитые насекомые способны на такие уловки. Эта тварь отлично знала, что в ванной комнате кто-то есть, что через несколько минут он выйдет оттуда, и выйдет почти голым.

Оказавшись в крохотной комнатенке, пастор прикрыл дверь – мягко и плавно, чтобы не потревожить врага. Ванна скоро наполнилась, и он погрузился в нее по шею, чувствуя себя в относительной безопасности. Наружное оконце он тоже закрыл, отгородившись от внешнего мира. Влажный пар окутал комнату и затуманил стекло. Целых десять минут Миллиган мог наслаждаться, воображая, что ему ничего не грозит. И все десять минут он вел себя беззаботно, будто никакого риска нет, да и храбрости ему не занимать. Плескался в воде, намыливался, орудовал губкой, шумел сколько душе угодно. Потом вылез из ванны и насухо вытерся. Пар понемногу исчез, оконное стекло очистилось. Теперь накинуть халат, надеть шлепанцы... Все. Пора выходить.

Не найдя предлога, чтобы еще немножко помедлить, он отворил дверь на каких-то полдьюма, выглянул и тут же с громким стуком захлопнул ее. Он услышал гудение крыльев. Злобная тварь покинула свой насест и жужжала над полом прямо у него на пути. Казалось, отравленные иглы нацелились в него отовсюду – того и гляди вонзятся; его незащитное тело съежилось от предчувствия боли. Шершень знал, что человек готовится выйти, и подстерегал его. Пастор мигом представил, как жало впивается ему в голые ноги, в спину и шею, щеки, глаза, в лысину на его почтенной клерикальной макушке. Сквозь дверь доносился монотонный зловещий звук: полосатый хищник яростно вращал крыльями. Скользкое жало нетерпеливо двигалось вперед, лапки проворно шевелились. Миллиган видел, как изогнулось перед атакой туловище, разделенное узкой перемычкой. Тьфу! Эта перемычка – она ведь совсем тонкая! Взять бы ему себя в руки хоть ненадолго, и он перебил бы ее надвое одним ударом, отделив тельце насекомого от подающего команды мозга. Но где там – нервы у пастора окончательно сдали.

Мотивы наших поступков, даже вполне достойные с виду, всегда бывают сложнее, чем кажутся. А побуждения преподобного Джеймса Миллигана в ту минуту вообще объяснить трудно. По крайней мере, хоть это извинение у него есть, чтобы как-то оправдать свою последующую выходку. Когда он уже был готов отбросить показную смелость и позвонить слуге-арабу, шаги в коридоре заставили его вновь собраться с духом. Он узнал походку человека, которого «осуждал в сердце своем» (что на языке проповедника значило «презирал и ненавидел»). Пока он тут мешкал, наступила очередь мистера Маллинза принимать ванну. Мистер Маллинз всегда приходил следом за ним в семь тридцать, а сейчас было уже без четверти восемь. И мистер Маллинз был неисправимым горьким пьяницей – проще говоря, забулдыгой.

Новый замысел возник у пастора сразу, точно по наитию, и в ту же минуту начал исполняться. Разумеется, его внушил дьявол. Миллиган даже себе до конца не признавался в том, что задумал. Жестокая, подлая шутка, но до чего соблазнительная... Пастор толкнул дверь и, задрав нос, гордо прошествовал к выходу мимо чудища на полу. За короткое время пути он испытал сотню ужасных ощущений: будто недруг вцепился ему в ногу, повис на халате и жалит спину, будто его угораздило наступить на шершня и он умирает, словно Ахиллес, раненный в пятку. Но все эти страхи были ему нипочем: он предвкушал, как через пять секунд в ту же самую ловушку угодит ничего не подозревающий Маллинз. Злобное существо гудело за спиной священника и скребло линолеум лапками. Но оно осталось позади. Опасность миновала!

– Доброе утро, мистер Маллинз, – сказал он, сладенько улыбнувшись. – Надеюсь, я не заставил вас ждать?

– Утро доброе! – буркнул в ответ Маллинз, смерил его заносчивым взглядом и прошел мимо. Возможно, он был грешником, но лицемером отнюдь не был и не делал тайны из своей нелюбви к духовенству, потому эти двое и враждовали.

Почти любой, если он не превосходит других настолько, чтобы называться сверхчеловеком, таит в душе что-то низменное. Низкие душевные свойства Миллигана сейчас одержали верх. Он мягко усмехнулся. Он ответил на дерзость Маллинза мирной всепрощающей улыбкой и громко зашаркал шлепанцами в сторону своей спальни. Потом посмотрел через плечо. Вот вот его обидчик встретится с разъяренным шершнем – египетским шершнем! – и поначалу, чего доброго, его даже не заметит. Может, наступит на него, а может, и нет, – но обязательно потревожит и заставит напасть. Тут все шансы были на стороне священника. А укусы гигантской осы означает смерть.

«Нет! Боже, прости меня!» – пронеслось в голове у Миллигана. Однако его покаянной молитве вторила другая мольба, подсказанная нашим вечным искусителем: «Черт побери, ну пускай эта тварь его ужалит!»

Все произошло очень быстро. Преподобный Джеймс Миллиган задержался у двери, чтобы поглядеть и послушать. Он видел, как Маллинз, гнусный, презренный Маллинз, весело

вошел в ванную, но вдруг замер, отпрянул назад и поднял руку, чтобы защитить лицо. Он слышал громкую ругань:

– Это что за чертова пакость? Снова белая горячка, а?

А затем раздался смех – грубый безудержный хохот, полный облегчения:

– Э, да оно настоящее!

Настроение Маллинза так круто поменялось за секунду, что пастор ощутил жгучую досаду и боль в сердце. Он готов был возненавидеть весь род людской.

Едва мистер Маллинз понял, что перед ним не галлюцинация, он без колебаний шагнул вперед. Взмахнул полотенцем и сбил летающий ужас наземь. Потом остановился и подобрал с полу ядовитую тварь, которую оказалось так легко сшибить одним метким ударом. Держа насекомое в руке, он подошел к окну и бережно выпустил шершня на свободу. Тот улетел, целый и невредимый, а мистер Маллинз – Маллинз, который пил, не жертвовал на церковь, не посещал службы, терпеть не мог священников и кичился этим, – ну словом, этот самый Маллинз без единой царапинки пошел наслаждаться незаслуженным купанием!

Но сперва он заметил, что его враг стоит, наблюдая за ним из коридора через дверной проем, – и все понял. Тем хуже: теперь Маллинз сочинит целую историю, и она разнесется по гостинице.

Впрочем, преподобный Джеймс Миллиган снова доказал, что умеет держать себя в руках. Через полчаса он проводил утреннюю службу, и его благообразное лицо выражало мир и покой. Он стер с него любые внешние признаки досады. Уж таков этот свет, рассуждал он себе в утешение: нечестивые цветут подобно лавру, а праведникам всегда не везет!

Грустная истина, что говорить. Но еще много дней спустя Миллигана выводило из себя нечто иное: презрение, с которым Маллинз указал и ему, и шершню их надлежащее место. Он великодушно пренебрег ими, а значит, считал себя выше их обоих. И вот что ранило священника больней, чем жало любого шершня в мире: этот забулдыга и правда был выше.

*Перевод Екатерины Муравьевой*

## Маленький бродяга

Он шел из своей холостяцкой квартиры в клуб, немолодой мужчина, слегка сутуловатый, с мягким, но решительным выражением лица, с ясными и смелыми синими глазами; в очертаниях волевого рта было нечто такое, что наводило на мысль о привычной грусти – или о покорности судьбе? Апрель едва начался, сквозь сумерки сеялся мелкий теплый дождик, но в воздухе пахло весной, и на деревьях у тротуара всю щебетали птицы. Сердце прохожего отозвалось на эти звуки: год вступил в свою лучшую пору, над лондонскими крышами нежно светилась полоска заката.

Его путь лежал мимо одного из больших портов – морских ворот Лондона; птичий гомон и облака, подцвеченные закатным огнем, соединились у него в душе с образом солнечного побережья. Вестники близкой весны рождали в ней музыку. Но эта музыка осталась немой и не выдала себя ничем, кроме тихого вздоха, настолько тихого, что, если бы мужчина нес в своих сильных руках ребенка, тот ничего бы не услышал. Однако прохожий зашагал быстрее, выпрямился, поднял глаза, и в них загорелся какой-то новый свет. На мокрых плитах тротуара, где отблески фонарей уже сплетались в тускло-золотую сеть, примерно в дюжине ярдов перед собой он увидел маленького мальчика.

Невесть отчего этот малыш вызвал у него живой интерес. Широкий итонский воротник мальчугана был до неприличия измят, острые фалды курточки смешно топорщились, из-под грязной соломенной шляпы рвались на волю густые светлые кудри, торчащие во все стороны. Было заметно, как трудно ему тащить до отказа набитую сумку, слишком громоздкую и тяжелую, чтобы пройти с такой ношей больше десяти шагов без остановки. Он перекладывал ее из руки в руку, то и дело ставил на землю и отдыхал; при каждом движении она била его по ноге, и штанина высоко задиралась над башмаком. Вся его фигурка прямо-таки взывала к сочувствию.

«Нужно ему помочь, – сказал себе мужчина. – Иначе он опоздает на поезд и не доберется к морю». О том, куда направляется мальчик, ясно говорила пара деревянных весел, неумело и небрежно привязанных к сумке.

Внезапно парнишка (на вид ему было лет десять) стал оглядываться по сторонам, растерянно и беспокойно, словно ждал чего-то, – то ли надеялся на помощь, то ли искал глазами того, кто должен был его встретить. Похоже, он и дороги толком не знал. Мужчина поспешил догнать его.

«Да, надо выручить юного бродягу», – мысленно повторял он по пути. Он улыбнулся. Была в его характере некая отеческая струнка, готовность опекать и защищать, а этот случай разбередил ее – и разбередил, пожалуй, чересчур сильно. Его улыбка сменилась добродушным смехом, когда он остановился над сумкой: она опять отдыхала на тротуаре, а ее владелец по-прежнему вертел головой туда-сюда. Но услышав шаги, он обернулся, и пара больших синих глаз уставилась в лицо незнакомцу радостно и смело, без малейших признаков смущения.

– Вот это здорово, сэр! – простодушно выпалил он, прежде чем мужчина успел заговорить. – Ужас до чего кстати! А я где только не искал, но мне и в голову не пришло посмотреть назад.

Прохожий, стоя рядом с ним в молчаливом изумлении, пропустил последнюю фразу мимо ушей. Дружелюбный взгляд мальчишки был так доверчив, голос звучал так искренне, что мужчину захлестнул прилив нежности, как будто он встретил своего маленького сына. Разом ожили полузабытые чувства, мысли вернулись в прошлое, минуя двенадцать бесплодно потраченных лет... складки возле рта стали глубже, но ласковый свет в глазах – еще ярче.

– Великовата она для тебя, мой мальчик, – сказал он, с веселым смешком очнувшись от раздумий. – Вернее, ты для нее слишком мал, а? Ну, куда теперь? На станцию, надо полагать?

Он нагнулся к сумке и хотел уже взяться за ручки, предварительно затолкав глубже под ремни кое-как примотанные весла, но вдруг ощутил, что слова мальчика вызвали у него боль.

Что за боль? Откуда она взялась? Что ему до этого бродяжки, ненароком встреченного на лондонской мостовой? В считанные секунды – после того, как он наклонился, и прежде, чем его пальцы коснулись ремней, – ему стало понятно, в чем дело, и немного смешно. Очень уж он расчувствовался! Сухое обращение «сэр» противоречило нежному, открытому взгляду ребенка. Так можно обращаться к учителю или школьному наставнику; из-за этого слова мужчина показался себе стариком. Не таких слов он ждал – да чего там, страстно желал, почти твердо надеялся услышать. Он был до того взволнован, что, подхватив сумку за ремни, даже не разобрал ответа на свой вопрос. Впрочем, неважно. Все равно надо идти к вокзалу: мальчик наверняка едет на взморье провести там пасхальные праздники, и семья дожидается его в билетной кассе. Заранее напрягая мускулы, мужчина оторвал сумку от земли.

– Большущее вам спасибо, сэр! – сказал мальчик. Он следил за ним с ухмылкой озорного школьника, словно это была шутка, и в то же время выглядел довольным – жалкий уличный оборванец, с которым наконец поступили «по-честному». Ведь и правда, таскать такие тяжести – работа не для детей. Но, хотя он опять произнес «сэр», что-то в его тоне выдавало уверенность: именно этого человека он имел право просить о помощи – и этот человек, один из всех, вправе и должен помочь ему. Как будто иначе и быть не могло.

Мужчину шатнуло, он едва устоял на ногах. Он перестарался – сделал чересчур сильный рывок, потому что сумка казалась тяжелой. А она была невесомой, легкой как перышко, точно склеена из китайской шелковой бумаги. Это во всех смыслах выбило его из равновесия. Ноги подкосились, мысли пошли вразброд.

– Ну ей-же богу! – воскликнул мальчик, отплясывая – руки в карманах – какой-то замысловатый танец рядом с ним. – Огромное вам спасибо. А смешно получилось, верно?

На этот раз досадное слово не прозвучало, но прохожему было уже не до слов. Туман плыл перед его глазами, фонари мерцали слабо и где-то далеко, морось в воздухе стала гуще. Он еще слышал, как привольно щебечут птицы, видел золотую полоску на краю неба, а весь прочий мир для него потускнел. Странные грезы сгустились, как облако. Мечты и реальность менялись местами, точно играя в прятки. Прошлое казалось совсем недавним, воспоминания, одетые огнем, толпились перед его внутренним взглядом и на миг заслонили все, что было вокруг. После двенадцати впустую прожитых лет ему вновь пришли на ум строки Россетти, в безупречной красоте которых таится боль:

*Тот Час, что мог настать и не настал,  
Что иссушил бесплодным ожиданьем  
Сердца двоих...*

Новая вспышка – и сонет «Мертворожденная любовь» зазвучал в его сознании целиком. «В глазах не меркнет память о любви...» Строчки стихов мешались с другими, сиюминутными мыслями. Этот мальчик! Какие нелепые усилия он делал, чтобы нести до смешного легкую сумку! И почему он вызывает острую, почти мучительную нежность? Неужели это переодетая девочка? Радостное лицо, невинная доверчивая улыбка, мелодичный голос, милые синие глаза – но чего-то недоставало, что-то важное было упущено. Вот только что? И кто этот беззаботный юнец? Старший пристально разглядывал младшего, пока они шли рядом. Его сердце изнывало, несказанно томилось робким, безнадежным, удивительным чувством. Мальчик глазел по сторонам и не замечал, что за ним следят; не замечал, конечно, и того, что его спутник сбивается с шагу и с трудом переводит дыхание.

Но тревога мужчины росла. Лицо ребенка напомнило ему многих других детей, мальчиков и девочек, которых он любил, с которыми когда-то играл, – его Приемных Детей, как он

называл их про себя. Мальчуган придвинулся ближе и взял его за руку. Они были уже недалеко от станции. Дыхание хрупкой, беззащитной и беспомощной, невыразимо трогательной маленькой жизни коснулось его лица.

Тут у него с языка сорвалось:

– Послушай... Эта твоя сумка – она же ничего не весит!

Мальчишка рассмеялся, беспечно и от всей души. Он поднял глаза на прохожего:

– Знаете, что в ней? Сказать вам? – И шепотом добавил: – Если хотите, я скажу.

Но тот внезапно испугался и не посмел спросить.

– Оберточная бумага, наверное, – предположил он шутливо, – или птичьи яйца. Грабишь гнезда несчастных жаворонков?

Паренек хлопнул обеими ладонями по руке, которая поддерживала его. Сделал один-два быстрых танцующих шага и замер на месте, так что его спутнику пришлось остановиться. Поднялся на цыпочки, чтобы шептать прямо в ухо собеседнику, и улыбнулся открытой, искренней, довольной улыбкой.

– Мое будущее, – шепнул он. Прохожий похолодел как лед.

Они вошли в просторное помещение вокзала. Последние отблески дневного света угасали снаружи, кругом волновалась толпа суетливых пассажиров. Мужчина опустил сумку на пол. Пару секунд мальчик торопливо озирался, потом опять просиял улыбкой и поднял на своего спутника синие глаза:

– Она в зале ожидания, как обычно. Пойду приведу ее, хотя она и так знает, что вы здесь.

Встав на носки, он положил руки на плечи мужчине и подставил лицо:

– Поцелуйте меня, отец. Я мигом вернусь.

– Ты... ты маленький бродяга! – произнес тот дрогнувшим, каким-то чужим голосом. Потом широко развел руки – и увидел пустоту перед собой.

Он повернулся и медленно побрел прочь. В клуб не пошел, возвратился домой и там в сотый раз перечитал письмо – за двенадцать лет чернила немного выцвели, – письмо, в котором она ответила ему «да» двумя неделями раньше, чем ее забрала смерть.

*Перевод Романа Гурского*



## Натаниэль Готорн



Натаниэль Готорн (1804–1864) хорошо известен российскому читателю, его начали переводить на русский еще при жизни (с 1853 года); творчеством американского писателя восхищались Гончаров, Толстой, Достоевский. Не забыт он и в наши дни. Хотя Готорн до сих пор так и не удостоился собрания сочинений на русском языке, его книги регулярно переиздаются – прежде всего романы «Алая буква» и «Дом о семи фронтонах». Новеллам «повезло» меньше, хотя именно с малого жанра, со сборника «Дважды рассказанные истории», началась известность Готорна. Эта книга стала важным импульсом к размышлениям Эдгара А. По о природе новеллистического жанра, привела, в конце концов, к выработке уникальной теории «единства впечатления» американского романтика.

Подробнее с биографией Готорна любой желающий может познакомиться в сети Интернет – сведений о жизни писателя там предостаточно. Напомним только основные вехи. Родился в 1804 году в городе Сейлем, Массачусетс. Учился в Боуден-колледже, где подружился с Франклином Пирсом, будущим президентом США. Знакомство это сыграло важную роль в судьбе писателя, обеспечив в будущем завидную дипломатическую должность (в 1853–1861 гг. он исполнял обязанности консула в британском Ливерпуле). Сочинять начал вскоре после окончания колледжа, первый роман («Фэншо», 1828) считал неудачным, никогда при жизни его не переиздавал и до 1850 года (до публикации знаменитой «Алой буквы») писал только рассказы. Впрочем, времени на сочинительство было совсем немного: семейная жизнь заставила искать средства к существованию, и несколько лет он трудился инспектором на таможне.

Важнейшую роль в выборе тем и сюжетов играло новоанглийское происхождение. Судя по всему, Готорна изрядно тяготило родство с жестокими пуританами Массачусетса (его прадед председательствовал на знаменитом антиколдовском процессе в Сейлеме), и с самых ранних произведений заметное место в его прозе занимала тема вины за старые грехи, в том числе грехи предков. Явно не случайно тема грехов – тайных и явных, прошлых и настоящих – звучит в прозе Готорна почти постоянно не только в романах, но и в рассказах.

Выход в свет романа «Алая буква» положил конец финансовым трудностям, дал возможность оставить службу и всецело отдаться творчеству. Большую часть своих произведений писатель создал в последние 14 лет жизни. Но лучшие рассказы родились все-таки в 1830–40-е гг. Большинство из них объединены в сборники: «Дважды рассказанные истории» (1837, 1842), «Мхи старой усадьбы» (1846) и «Снегурочка и другие дважды рассказанные истории» (1851). Любимые рассказы Г. Лавкрафта – «Честолюбивый гость» и «Черная вуаль священника» – были написаны соответственно в 1835 и 1836 гг. Они входят в состав сборника «Дважды рассказанные истории».

*А. Б. Танасейчук*

## Честолюбивый гость

Одним сентябрьским вечером семья собралась вокруг очага, в котором были сложены горкой и сучья, выловленные из горных потоков, и сухие сосновые шишки, и обломки стволов огромных деревьев, свалившихся в пропасть. От сильной тяги гудела дымовая труба, широкие языки пламени озаряли всю комнату. Лица отца и матери выражали удовлетворенность жизнью; дети смеялись; старшая дочь являла собою образ счастья в семнадцать лет, а бабушка, сидевшая с вязаньем в самом теплом уголке, – тот же образ на старости лет. Они сумели найти «цветок, души отраду»<sup>9</sup> в краю более унылом, чем любая другая местность Новой Англии. Эта семья обосновалась на перевале Нотч в Белых горах, где ветер не утихает год напролет, а зима безжалостно холодна и испытывает на их домике всю свою еще не растрченную злобу, прежде чем сойдет в долину реки Сако. Холодное место выбрали они и опасное: над головами у них нависала гора столь крутая, что камни то и дело срывались с ее склонов, пугая людей по ночам своим грохотом.

Дочь только что произнесла какую-то незамысловатую шутку, развеселив всю семью, когда ветер, пролетев через Нотч, словно замер на миг перед их домом, чтобы постучать в дверь, жалобно завывая, а потом умчался дальше, в долину. На мгновение настроение семьи омрачилось, хотя звуки эти были им привычны. Но тут же они вновь приободрились, заметив, что дверная задвижка поднимается: значит, прибыл некий странник, чьи шаги заглушил тоскливый шквал, предвестник его прихода, рыдавший у двери и со стоном умчавшийся прочь.

Хотя эти люди и жили так обособленно, они ежедневно поддерживали связь с внешним миром. Романтический перевал Нотч – это жизненно важная артерия, благодаря которой ровно бьется пульс внутренней торговли между штатом Мэн с одной стороны и Зелеными горами и побережьем залива Св. Лаврентия – с другой. Почтовые кареты всегда останавливались у этого домика. Пешеход, чей единственный спутник – посох, присаживался здесь перекинуться парой слов с хозяевами, чтобы чувство одиночества не одолело его прежде, чем он минует ущелье или доберется до первого жилого дома в долине. Здесь же и погонщик стад, по дороге на рынок в Портленде, находил себе ночлег; если был он холост, то мог, отложив на часок отход ко сну, украдкой поцеловать деву гор на прощанье. Это был один из тех старинных приютов, где путешественник платит только за кров и пищу, зато находит бесценные дары – уют и радушие. Вот почему, заслышав шаги между наружной и внутренней дверьми, все семейство встало – и бабушка, и дети, – как будто готовясь приветствовать кого-то близкого, как бы связанного с ними судьбою.

Дверь открылась, вошел молодой человек. На лице его застыло меланхоличное, почти унылое выражение, как у всякого, кто держит путь по диким, суровым местам в одиночку, в темноте, но оно посветлело, как только он почувствовал дружелюбное тепло этих людей. Сердце его потянулось к ним – от старушки, вытершей стул для него своим передником, до малыша, протянувшего ручки ему навстречу. Одного взгляда и улыбки хватило, чтобы между пришельцем и старшей дочерью установилась невинная симпатия.

– Ах, огонь – это замечательно! – воскликнул он. – Особенно в таком приятном кругу. Я совсем закоченел... Нотч нынче словно большими кузнечными мехами продувает, всю дорогу от Бартлета жуткие порывы били мне в лицо.

– Вы, значит, направляетесь в Вермонт? – спросил хозяин дома, помогая гостю снять с плеч легкий ранец.

---

<sup>9</sup> В оригинале – “herb, heart’s-ease”. Цитата из пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Подразумевается heart’s-ease – народное английское название лугового цветка, фиалки трехцветной. Использовалось в стихотворениях, в частности у Кристины Розетти, как метафора душевного покоя и мудрости, приходящей с возрастом.

– Да, в Берлингтон, а потом дальше, – ответил юноша. – Я рассчитывал сегодня к вечеру добраться до усадьбы Итена Кроуфорда; но пешим ходом такую дорогу быстро не пройдешь. Это не беда! Как увидел я этот славный огонек и ваши жизнерадостные лица, показалось мне, что вы нарочно разожгли его, поджидая меня. Ну что же, сяду-ка я рядом с вами и буду как дома!

Прямодушный незнакомец подвинул стул к огню, но тут снаружи послышалось нечто вроде тяжелой поступи, словно великан мчался по крутому склону горы длинными скачками и, миновав домик, рухнул на обрыв напротив. Вся семья затаила дыхание, так как они знали, что это за звук, а гость инстинктивно почуял неладное.

– Старуха гора швырнула в нас камнем, чтоб о ней не забывали, – сказал хозяин, переведя дух. – Она иногда покачивает головой и грозитя сойти вниз; но мы ее давние соседи и в целом неплохо ладим. К тому же, коли она всерьез надумает спуститься, у нас есть надежное укрытие неподалеку.

Теперь представим себе, что пришелец уже справился с поданной ему на ужин порцией жаркого из медвежатины; благодаря природному обаянию, он обрел доброе расположение всей семьи, и они беседовали так непринужденно, будто и он был сложен из той же горной породы. Гордый, но чувствительный юноша бывал высокомерен и замкнут в обществе богатых и именитых, но охотно склонял голову, входя в скромную хижину, и вел себя как брат или сын у очага бедняков. Под кровом обитателей Нотча он нашел тепло, простые чувства и трезвый разум, свойственный людям Новой Англии; он ощутил поэзию естественного роста: они обретали знания и способность мыслить, сами того не замечая, среди пиков и пропастей горы и даже у порога своего романтического и опасного обиталища. Юноша много странствовал, всегда в одиночку; по сути, вся его жизнь была долгим одиноким странствием, ибо, повинувшись своей возвышенной и скрытной натуре, он неизменно держался в стороне от тех, кто мог бы стать его спутниками. У здешней семьи, при всем добродушии и гостеприимстве, тоже было сознание внутреннего единства и отгороженности от окружающего мира – ведь в каждом домашнем кругу должно оставаться святилище, куда не могут проникнуть посторонние. Однако этим вечером какое-то пророческое чувство побудило утонченного и образованного юношу раскрыть душу перед простыми горцами и вызвало у них ответную симпатию и доверие. Иначе и быть не могло. Разве родство судеб – не более прочная связь, чем родство кровное?

Характер молодого человека определяло скрытое в глубине души честолюбие, возвышенное и туманное. Он согласился бы прожить скромно и незаметно, лишь бы не быть забытым после кончины. Жгучее желание переросло в надежду, а долго лелеемая надежда – в уверенность, что в конце концов лучи славы озарят пройденный им безвестный путь, пусть даже сам он уже сойдет с него. Когда взгляд потомков проникнет сквозь мглу его нынешнего состояния, ставшего прошлым, они обнаружат яркое сияние оставленных им следов, и оно будет разгораться по мере того, как будет угасать низменная слава других; и мир признает, какая одаренная личность прошла от колыбели до могилы, никем не замеченная.

– Пока что, – воскликнул гость покрасневшись, и глаза его светились энтузиазмом, – пока я еще ничего не достиг. Исчезни я завтра с лица земли, никто не узнает обо мне больше, чем вы: безымянный юнец пришел на закате из долины Сако, вечером открыл вам свое сердце, а на восходе отправился в путь по Нотчу, и больше его не видели. Ни единая душа не захочет спросить: «Кто он? Куда ушел скиталец?» Но я не могу умереть раньше, нежели исполню свое предназначение. Тогда пусть приходит Смерть! Мой памятник будет уже воздвигнут!

Эти туманные мечтания сочетались с таким потоком искренних эмоций, что семья сумела понять чувства молодого человека, хоть они и отличались сильно от их собственных. Со свойственным ему чутьем смешного он вдруг устыдился своих пылких речей, которых не сумел сдержать.

– Вы смеетесь надо мной, – сказал он, взяв за руку старшую дочь, и сам рассмеялся. – Мои амбиции кажутся вам бессмысленными, как если бы я намеревался замерзнуть насмерть на вершине горы Вашингтон лишь затем, чтобы люди могли поглазеть на меня из окрестных долин. Конечно, это был бы достойный пьедестал для статуи человека!

– Уж лучше сидеть здесь у огня, – ответила девушка, краснея, – в уюте и покое, хоть бы даже никто про нас и не знал.

– Думается мне, – сказал отец, поразмыслив, – слова юноши естественны; будь я настроен, как он, то и чувствовал бы то же самое. Вот как странно, жена: от разговора этого в голове моей стали крутиться мысли о разных вещах, которым уж точно никогда не сбыться.

– А вдруг да сбудутся, – возразила жена. – Думает ли муж, что будет делать, когда овдовеет?

– Нет, нет! – с мягким упреком запротестовал он. – Когда я думаю о твоей смерти, Эстер, то думаю и о своей. Нет, я просто подумал, что хорошо бы нам обзавестись славной фермой где-нибудь близ Бартлета, Бетлехема, или Литлтона, или любого другого городка в округе Белых гор, лишь бы там ничего не падало нам на головы. Я бы хотел жить дружно с соседями, и чтобы они меня звали сквайром и направили в Главный суд штата на один срок или два; простой, честный человек может там сделать не меньше добра, чем заправский юрист. А когда бы я стал уже совсем стариком, а ты – старушкой, чтобы нам не разлучаться надолго, я умер бы счастливым в своей постели, а вы бы все плакали вокруг меня. Могильная плита из песчаника подойдет мне ничуть не хуже мраморной, и пусть на ней напишут только мои имя и возраст, да какую-нибудь строчку из гимна, да пару слов, чтобы люди знали, что жил я честно и умер как христианин...

– Вот видите! – воскликнул незнакомец. – Желать памятника – в нашей природе, будь то песчаник либо мрамор, обелиск из гранита либо славная память в человечестве.

– Странная у нас нынче выходит беседа, – сказала жена со слезами на глазах. – Говорят, это не к добру – пускаться в такие мечтания... Вы детей-то послушайте!

Все прислушались. Младших детей уже давно уложили спать в другой комнате, но дверь осталась приоткрытой, и можно было услышать, как они оживленно переговариваются. Как будто заразившись от старших, они соперничали друг с другом, выражая дикие выдумки и детские фантазии о том, что они будут делать, когда станут взрослыми мужчинами и женщинами. Наконец младший мальчик, отвернувшись от братьев и сестер, обратился к матери.

– Мне чего-то так хочется, матушка! – заныл он. – Чтобы ты, и батюшка, и бабуля, и мы все, и гость тоже, прямо сразу собрались и поехали попить водички из Флумы!

Как было не рассмеяться этому предложению дитяти: покинуть теплую постель и круг веселого огня, чтобы тащиться по Нотчу к глубокой и узкой расщелине, где скачет по камням Флума – горный ручей. Едва мальчик договорил, как по дороге застучали колеса, и у двери остановился фургон. В нем, судя по звукам, двое или трое мужчин, бодрости ради, нестройным хором выводили песню, и обрывки ее подхватывало эхо среди скал, пока певцы колебались, продолжить ли им путь или заночевать.

– Отец, – сказала девушка, – они зовут тебя!

Однако доброму человеку не показалось, что они и впрямь его звали, да и не хотелось выказать себя слишком жадным до заработка, зазывая проезжих в дом. Поэтому он замешкался и не поспешил к двери; послышался щелчок бича, и путники двинулись дальше по Нотчу, по-прежнему распевая и смеясь, хотя гора отвечала на их серенады и смешки мрачным ворчанием.

– Да что же вы, матушка! – огорчился ребенок. – Они ведь могли подвезти нас до самой Флумы...

Взрослые снова посмеялись над упрямым фантазером. Но какое-то легкое облачко затенило душу дочери; она с тоскою поглядела в огонь и не удержалась от вздоха, хотя и попыталась

это скрыть. Вздрыгнув и залившись румянцем, она украдкой взглянула на сидевших вокруг очага, будто застеснялась своего душевного движения. Гость спросил, о чем она задумалась.

– Ни о чем, – ответила она с грустной улыбкой. – Мне просто стало как-то одиноко на минутку.

– О, я умею чувствовать, что у людей на сердце, – полушутливо сказал он. – Позвольте раскрыть ваши секреты? Видите ли, мне известно, отчего юная девушка вздрагивает у теплого очага и жалуется на одиночество, сидя рядом со своей матушкой. Могу ли я облечь эти чувства в слова?

– Если их можно облечь словами, то это уже не будут чувства девушки, – ответила горная нимфа, смеясь, но пряча от него глаза.

Сказанного между ними никто не слышал. Быть может, в их сердцах дало ростки семя любви, такой чистой, что она могла бы расцвести в Раю, ибо на земле ей созреть не дано; женщины преклоняются перед теми, кто одарен таким тихим достоинством; а гордая, созерцательная, но добрая душа чаще всего увлекается такой простотой. Он созерцал счастливую грусть, и светлые тени, и робкие стремления девичьей природы; пока они негромко разговаривали, голос ветра, пролетавшего сквозь Нотч, звучал глуше и мрачнее. Казалось, как выразился пришелец, словно духи завели хорал – воображение напомнило ему, что индейцы в былые времена считали эти горы обиталищем духов бури, вершины и ущелья были для них священным краем. Заунывный гул доносился с дороги, как будто по ней двигалась похоронная процессия. Чтобы развеять мрачный настрой, семья стала подкладывать в очаг сосновые ветки, пока не затрещала сухая хвоя, и языки пламени снова озарили картину покоя и скромного счастья. Свет нежно окутывал их, ласкал их всех. Личики детей, глядящих издали, из кровати, и крепкая фигура отца, и лицо матери, воплощение покорности и заботы, тут же витающий в облаках юноша, и расцветающая девушка, и добрая старушка в самом теплом уголке, с неизменным вязанием. Но вот она оторвала взгляд от работы и, не прерывая движения спиц, заговорила:

– У стариков свои понятия, у молодых – свои. Вы тут всякого желали да мечтали, то одно у вас на уме, то другое; вот и у меня голова кругом пошла. Как по-вашему, чего может желать старая женщина, ежели ей остается каких-нибудь один-два шага до могилы? Дети, это будет меня мучить днем и ночью, пока не скажу вам!

– Что же это, матушка? – разом спросили муж и жена.

И старушка, напустив на себя таинственный вид, отчего кружок придвинулся поближе к огню, поведала им, что несколько лет назад она запаслась нарядом для похорон: красивый саван из отбеленного полотна, чепчик с муслиновой оборкой и прочие вещи лучшего качества, каких ей не доводилось носить с самого дня свадьбы. Но сейчас ей отчего-то вспомнилось старинное поверье. В ее молодые годы поговаривали, будто бы любой беспорядок в одеянии тела, смятая оборка или криво надетый чепчик, заставят покойника в гробу поднять из праха свои хладные руки и поправить это. Одна мысль об этом расстраивала ее нервы.

– Не говори так, бабушка! – воскликнула девушка, содрогнувшись.

– Так вот, – продолжала старушка очень серьезно, хотя и со странной улыбкой, как бы смеясь над собственной причудой, – я хочу, чтобы кто-то из вас, дети мои, – когда ваша матушка будет обряжена и уложена в гроб, – я хочу, чтобы кто-то из вас подержал зеркало над моим лицом. Кто знает, вдруг я смогу взглянуть и проверить, все ли в порядке?

– Старые и молодые, мы все мечтаем о гробницах и монументах, – пробормотал юный пришелец. – Интересно, что чувствуют моряки, когда их корабль тонет и они все вместе будут вот-вот безвестно погребены в океане – гробнице просторной и безымянной?

На мгновение жутковатая идея старушки так удручила слушателей, что возникший в ночи звук, крепнувший, как рев внезапного шквала, стал нарастать и сделался глубоким и страшным раньше, чем обреченные люди осознали это. Дом со всем, что в нем было, затрясся; казалось, содрогнулись основания земли, как будто тот ужасный грохот был призывом труб

Страшного суда. Молодые и старые испуганно переглянулись, на миг застыли, онемевшие, потрясенные, не в силах шевельнуться. Потом единый крик вырвался разом из всех уст:

– Обвал! Обвал!

Самыми простыми словами можно изложить суть, но не дать почувствовать весь невыразимый ужас этой катастрофы. Люди выскочили из дома и спрятались в укрытии, которое считали надежным, – предвидя возможность такой беды, они давно уже устроили нечто вроде каменного навеса. Увы! Вышло так, что они покинули надежный кров и оказались прямо на пути разрушения. Целый склон горы обрушился, как губительный водопад. Но, немного не дойдя до дома, камнепад разделился на два потока; в доме даже оконные стекла не дрогнули, но обвал покрыл всю окрестность, завалил дорогу и уничтожил все живое в своем жутком движении. Задолго до того, как гром великого Обвала затих среди дальних гор, смертельная агония жертв завершилась, и они обрели покой. Их тела не были найдены.

На следующее утро жители долины заметили дымок, вьющийся из трубы хижины на склоне горы. В очаге еще тлел огонь, вокруг него стояли стулья, как будто обитатели дома просто вышли посмотреть на последствия Обвала и вскоре вернуться, чтобы поблагодарить Всевышнего за чудесное избавление. От всех членов семьи остались их личные вещи, над которыми знавшие их пролили слезу о каждом. Кто не слышал о них? История разошлась повсюду и навсегда останется легендой в этих горах. Поэты воспели их судьбу.

Некоторые детали привели кое-кого к выводу, что в ту ужасную ночь в хижине находился посторонний, разделивший несчастье с хозяевами. Другие считали, что для такого предположения нет достаточных оснований. Горе юноше с возвышенной душой, мечтавшему о земном бессмертии! Его имя и личность совершенно неизвестны; его предыстория, его образ жизни, планы – все это осталось навеки неразрешимой тайной, само его существование и смерть равно сомнительны! Чья агония в тот последний миг была самой мучительной?

*Перевод Алины Немировой*

### **Примечания переводчика**

«Честолюбивый гость», как и многие другие рассказы Готорна, имеет точную географическую привязку и основан на конкретном факте местной истории. Начнем с географии.

Место непосредственного действия и почти все упоминаемые в рассказе объекты находятся на территории северо-восточных штатов США: Нью-Гэмпшир, Мэн и Вермонт. Белые горы – часть горной системы Аппалачи. Нотч (от англ. “notch” – «желоб, прорезь, выемка») – горный проход, перевал между двумя хребтами Белых гор, область которых описывают как «дикий край, негостеприимный и порою смертельно опасный». И в наши дни она считается наиболее труднодоступным местом в Новой Англии. Гора Вашингтон (1917 м), так и не послужившая постаментом безвестному страннику, – самая высокая гора северо-востока США и место самых сильных ветров на поверхности Земли. В 1934 г. на ее вершине метеорологи зафиксировали скорость ветра 372 км/ч, остававшуюся рекордной вплоть до 1996 г.

Зеленые горы – хребет, протянувшийся на 400 км с юга на север в штате Вермонт, доходит до границы с Канадой.

Река Сако (длина 219 км) протекает по северо-восточной части штата Нью-Гэмпшир и юго-западным областям штата Мэн. Она орошает леса и пахотные земли к юго-западу от Портленда и впадает в Атлантический океан.

Река Св. Лаврентия вытекает из озера Онтарио в северо-восточном направлении и соединяет Великие озера с северной Атлантикой.

Город Портленд, основанный в 1623 г., – ныне самый большой город штата Мэн, центр морских грузоперевозок и рыбной ловли.

Берлингтон (штат Вермонт) возник в 1763 г. как сельскохозяйственное поселение, быстро развился благодаря транзитной торговле.

Как видим, перевал Нотч, известный в наши дни как Кроуфорд Нотч, глубокая долина в сердце Белых гор, будучи соединительным звеном в сети важных торговых путей, мог привлекать поселенцев, несмотря на природные опасности. Одним из таких храбрецов стал Абель Кроуфорд. Он перебрался сюда с семьей из Вермонта в 1790 г., сразу после завершения Войны за независимость (в США), и поселился сперва близ северной оконечности ущелья, а потом продвинулся вглубь на 19 км к югу. Здесь он построил гостиницу, Кроуфорд Хауз, где в 1792 г. родился его сын, Итан Кроуфорд. Именно он был хозяином гостиницы в то время, и именно туда не дошел, на свое несчастье, романтический персонаж Готорна.

Несколько поколений Кроуфордов трудились, чтобы улучшить условия для проходящих через перевал. В Белых горах и вокруг них их имя было хорошо известно, и ущелье стали называть Кроуфорд Нотч.

Названия, упомянутые в разговоре персонажей о желаниях, – это отдельная тема. Автор, очевидно, хотел подчеркнуть и контраст конкретных, приземленных мечтаний «счастливых горцев» с туманной риторикой гостя, и их полную несбыточность: все три города, перечисленные отцом семейства, очень далеки от Белых гор. Литлтон, с его сухим и теплым климатом, – в штате Колорадо; Бартлет, станция на большом почтовом тракте, – в Теннесси; Бетлехем, где в 1747 г. впервые в США нарядили елки на Рождество, – в восточной Пенсильвании.

Желание ребенка «посмотреть на Флуму» также несбыточно, хотя сам объект и находится сравнительно недалеко. Флума (Flume) – узкая (от 3,6 до 6 м), 240 м в длину, расщелина в Белых горах; между крутыми гранитными стенами (21–27 м) по дну несется бурный поток. Место остается труднодоступным и в наше время. Обнаружила его случайно в 1808 г. некая Джесс Гернси, 93 лет от роду (!), выбирая место для рыбалки. Вскоре люди стали приходить туда, чтобы полюбоваться на чудо природы. В то время между стенками расщелины висел огромный (3 x 3,6 м) яйцевидный валун. В 1883 г. затяжной ливень вызвал оползень, и валун упал. Идея повидать Флуму темной и ветреной сентябрьской ночью, конечно же, была нелепой.

Случай, положенный Готорном в основу рассказа, произошел в 1826 г., за 9 лет до написания.

На перевале Нотч проживал Сэмюэл Уилли с женой, пятью детьми и двумя работниками. Оползень, случившийся в горах неподалеку, вынудил семью срочно покинуть свой дом на Нотче и наскоро соорудить убежище в более безопасном, на их взгляд, месте. К сожалению, они попали в ловушку – на следующую ночь второй, катастрофический обвал обрушился прямо на них. Прибывшая наутро спасательная партия отчаянно пыталась отыскать семью. Тела родителей, двоих детей и работников нашли, остальные трое детей пропали бесследно.

Сравнив сухие факты с текстом, можно понять, какими приемами писатель сумел превратить простой, хотя и трагический случай в аллегорию непрочности человеческого бытия с философским подтекстом. Трагедия на перевале Нотч не могла не вызвать у современников мысли о незащитности человека перед лицом могущественных и непредсказуемых сил природы. Известный американский художник Томас Коул (1801–1848) создал пейзаж долины и гор, окружающих Нотч, выразив средствами живописи те же чувства.

## Черная вуаль

Пономарь стоял на крыльце Милфордского молитвенного дома, усердно дергая за веревку колокола. Деревенские старики, сутулясь, брели по улице. Румяные детишки весело вышагивали рядом с родителями или шествовали нарочито важно, осознавая, что их воскресные наряды требуют вести себя с особым достоинством. Принаряженные холостяки искоса поглядывали на хорошеньких девиц, и им казалось, что в субботнее утро те выглядят намного прелестнее, чем в будни. Когда большинство народа просочилось в двери, пономарь принялся посматривать на двери дома преподобного мистера Хупера. Выход священника был для него сигналом к прекращению звона. И вот пастор вышел – и пономарь вскричал в изумлении:

– А что это у нашего доброго пастыря Хупера с лицом?

Все, кто услышал этот возглас, тотчас обернулись и узрели знакомую фигуру: это несомненно был Хупер, который неспешным шагом, в задумчивости, приближался к дому собраний. И все они разом вздрогнули, удивившись сильнее, чем если бы вдруг некий неизвестный священник явился вытряхнуть пыль из подушек на кафедре мистера Хупера.

– Вы уверены, что это – наш пастор? – робко спросил у пономаря Гудмен Грей.

– Да, разумеется, это добрый наш мистер Хупер, – ответил пономарь. – Его должен был сменить пастор Шатт из Уэстбери, но он вчера прислал записку с извинением, что не сможет быть, – ему нужно провести погребальную службу.

Стороннему наблюдателю столь сильное удивление показалось бы, пожалуй, необоснованным. Хупер, хорошо воспитанный джентльмен около тридцати лет от роду, хотя все еще не женатый, был одет с приличествующей духовной особе опрятностью, как будто заботливая жена накрахмалила ему воротничок и выбила скопившуюся за неделю пыль из складок его воскресного костюма. Лишь одна деталь нарушала привычный облик Хупера. Вокруг лба его была повязана и свисала на лицо черная вуаль. Складки ее спускались так низко, что колебались от его дыхания. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вуаль состоит из сложенного вдвое полотнища крепа, которое полностью скрывало черты лица пастора, за исключением рта и подбородка, но, по-видимому, не мешало видеть – хотя все предметы, как одушевленные, так и неодушевленные, должно быть, казались ему затемненными. Окутанный этим мрачным покровом, добрый мистер Хупер продвигался вперед тихо и медленно, слегка сгорбившись и глядя себе под ноги, как свойственно людям, погруженным в размышления. Впрочем, это не помешало ему приветствовать кивком головы тех прихожан, которые все еще стояли на ступенях крыльца. Однако они были так потрясены этим зрелищем, что позабыли ответить.

– Право слово, мне чудится, будто под вуалью у нашего доброго пастора нет лица, – пробормотал пономарь.

– Не нравится мне это, – откликнулась одна из старух, споткнувшись на пороге здания. – Он всего лишь спрятал свое лицо, а сделался каким-то чудовищем!

– Пастор сошел с ума! – воскликнул Гудмен Грей, переступив порог следом за ним.

Таинственное явление уже обсуждали шепотом в зале, когда Хупер вошел. Собравшиеся волновались. Мало кто смог удержаться от того, чтобы не повернуть голову к двери; многие повскакивали, а несколько мальчиков вскарабкались на скамьи и спрыгнули обратно на пол с ужасным шумом. Поднялся общий ропот, шуршали юбки женщин, шаркали башмаки мужчин, не было той почтительной тишины, с которой надлежит встречать духовного наставника. Тем не менее Хупер, казалось, и не заметил смятения, охватившего паству. Он вошел почти бесшумно и двинулся по проходу между скамьями, склоняя голову направо и налево. Дойдя до старейшего из прихожан, седоволосого прадедушки, которому было отведено особое кресло посредине прохода, Хупер низко поклонился. Странно было видеть, как медленно доходило изменение во внешности пастора до этого почтенного старца. Он осознал причину волнения

окружающих, по-видимому, лишь когда Хупер, взойдя по ступенькам, занял свое место на кафедре, лицом к лицу с людьми – если не считать черной вуали. Это таинственное покрывало так и не было снято. Оно мерно колыхалось от дыхания пастора, когда тот выпевал псалом; оно затемняло страницы священной книги, когда он читал из Писания, а когда, вскинув голову, приступил к молитве, складки ткани плотно легли на его лицо. Неужели он хотел таким образом укрыться от того страшного создания, о коем говорил?

Этот простой кусок крепа так сильно действовал на нервы, что нескольким наиболее чувствительным женщинам пришлось покинуть дом молитвы. Хотя, возможно, священнику было столь же страшно смотреть на бледные лица паствы, как им – на его черную вуаль.

Мистер Хупер пользовался репутацией хорошего проповедника; но он был не из тех, кто мечет громы и молнии. Он предпочитал обращать своих подопечных к небесам мягкими, убедительными словами, а не загонять их туда бичом слова Божьего. Проповедь, произнесенная им в тот раз, по стилю и манере речи ничем не отличалась от всего, что он прежде произносил с кафедры. И все же было нечто такое то ли в чувстве, пронизывавшем его речь, то ли в воображении слушателей, отчего проповедь оказала на паству намного более глубокое впечатление, чем все ранее исходившее из уст пастора. В ней сильнее, чем обычно, сквозила тихая меланхолия, свойственная темпераменту Хупера. Темой он избрал скрытые грехи – те печальные тайны, которыми мы не делимся даже с теми, кто дороже всех нашему сердцу. Мы всегда готовы спрятать их и от собственной совести, забывая, что Всеведущий разглядит их. Слова пастора были тихи, но обладали пронзительной силой. Каждый из собравшихся, будь то невинная девушка или ожесточенный жизнью мужчина, чувствовал, что проповедник словно прокрался к ним в душу под прикрытием своей жуткой вуали и там обнаружил залежи греховности в делах или мыслях. Многие прижимали стиснутые руки к груди. В том, что говорил Хупер, не было ничего ужасного, во всяком случае угрожающего; и все же, когда в его печальном голосе слышалась дрожь, слушатели содрогались. Благоговейному страху сопутствовало непривычное воодушевление. Люди так остро воспринимали перемену, случившуюся с их пастырем, что порадовались бы неожиданному порыву ветра, который мог приподнять завесу, – и они не удивились бы, увидев под ней лицо незнакомца, хотя очертания фигуры, жесты и голос несомненно принадлежали Хуперу.

По окончании службы люди заторопились к выходу с неприличной поспешностью. Им не терпелось поделиться долго сдерживаемыми чувствами; к тому же, как только черная вуаль перестала маячить у них перед глазами, им сразу становилось легче. Одни собрались в тесные кружки, сблизив головы и тихонько перешептываясь; другие поодиночке расходились по домам, молча, в задумчивости. Кое-кто громко судачил и осквернял день субботний нарочито громким смехом. Находились и умники, которые покачивали головами, намекая, что уже проникли в тайну. Одному или двум решительно казалось, что никакой тайны тут нет: просто мистер Хупер слишком много читает по ночам при свечах, и у него наконец заболели глаза. Вскоре после того, как паства покинула дом собраний, следом вышел и пастырь. Обращаясь своим закутанным лицом то к одной кучке народу, то к другой, Хупер оказал надлежащий почет седоголовым, приветствовал людей зрелого возраста достойно и доброжелательно, как пристало другу и духовному руководителю; молодежи он давал почувствовать и свою строгость, и доброту. Малым детям он возлагал руки на головы, благословляя их. Он всегда так поступал по субботним дням; но сегодня ответом на его учтивость были только недоуменные и испуганные взгляды. Никто, в отличие от прежних дней, не оспаривал честь проводить пастора до дома. Старый сквайр Сондерс, видимо, по слабости памяти забыл пригласить Хупера к своему столу, чтобы добрый священник благословил пищу. А между тем это приглашение неукоснительно поступало почти каждое воскресенье с того дня, как Хупер здесь появился.

Итак, он сразу возвратился к себе домой, и люди, издали следившие за ним, видели, как он оглянулся, прежде чем закрыть за собою дверь. По губам его из-под черной вуали, как мгновенная вспышка света, промелькнула печальная улыбка, и он скрылся в доме.

– До чего странно, – сказала супруга доктора, – ведь это обычная черная вуаль, многие женщины носят такую на шляпках. А на лице мистера Хупера она выглядит просто ужасно!

– Надо полагать, у Хупера не все в порядке с рассудком, – заметил ее муж, единственный врач в селении. – Однако страннее всего тот эффект, который производит эта причуда даже на такого трезвомыслящего человека, как я. Закрывая только верхнюю часть лица пастора, вуаль воздействует на всю его фигуру и придает ему сходство с призраком с головы до ног. Разве ты этого не чувствуешь?

– Весьма даже чувствую, – ответствовала леди, – и я бы не согласилась остаться с ним наедине ни за какие сокровища мира. Не удивлюсь, если он заботится оставаться наедине сам с собой!

– С людьми такое иногда случается, – отозвался доктор.

К полуденной службе обстоятельства не изменились. После нее должно было состояться погребение недавно умершей молодой леди, о чем и возвестил колокол. Родные и друзья собрались в доме, просто знакомые столпились у входа, толкуя о добродетелях покойной, но всякие разговоры смолкли, когда появился Хупер, по-прежнему под черной вуалью. В данном случае эта эмблема печали была вполне уместна. Священник вошел в помещение, где положили тело, и склонился над гробом, чтобы проститься со своей прихожанкой, оставившей сей мир. Когда он наклонился, вуаль свесилась вниз, так что несчастная девушка, не будь глаза ее сомкнуты навеки, могла бы увидеть его лицо. И Хупер поспешно подхватил вуаль и поправил ее складки. Неужели он и впрямь испугался взгляда покойницы? Одна из присутствовавших при этой встрече живого с мертвой не постеснялась утверждать, будто бы в момент, когда черты пастора открылись, тело едва заметно содрогнулось, отчего сместились складки савана и оборки муслинового чепца, хотя лицо сохраняло мертвенное спокойствие. Правда, свидетельницей сего чуда оказалась лишь одна суеверная старушка. От гроба Хупер перешел в комнату, где собрались скорбящие родные, а затем вышел на площадку лестницы, чтобы произнести прощальную речь. Она была нежной, трогательной, печальной – и все же столько в ней было надежды на небесное блаженство, что даже самым скорбным звукам его голоса словно вторили нежные переливы арф, поющих под пальцами мертвых. Слушающих охватила дрожь, хотя они лишь смутно улавливали смысл его призыва; он же молился о том, чтобы они, да и он сам, и весь род людской были готовы, как, по его убеждению, была готова эта юная дева, к тому суровому часу, когда сорваны будут покровы с их лиц. Затем явились носильщики, поднатужившись, взяли за гроб, и процессия потянулась следом за покойницей, наводя печаль на всю улицу, а мистер Хупер под своей черной вуалью шел позади всех.

– Почему ты все время оглядываешься? – спросил один из участников процессии свою спутницу.

– Мне почудилось, – ответила та, – что наш пастор идет рука об руку с духом девушки.

– И мне тоже, в ту же минуту, – признался другой.

А вечером того же дня состоялась свадьба самой красивой пары во всем Милфорде. Несмотря на природную склонность к меланхолии, Хупер в подобных случаях проявлял мирную веселость, глядя на праздничные утехы с понимающей улыбкой. Ликование более бурное он бы отверг. Именно это его качество привлекало людей больше всего. Гости, сошедшиеся на свадьбу, ожидали прибытия пастора с нетерпением, надеясь, что непонятный страх, внушаемый им в течение дня, теперь развеется. Увы, надежда не сбылась. Первым, что бросилось всем в глаза, как только мистер Хупер вошел, была все та же жуткая черная вуаль, которая добавляла траура похоронам, но на свадьбе смотрелась как зловещее предзнаменование. Гостям сразу же показалось, что из-под черного крепа выплыло облако мглы и затмило

сияние свечей. Брачующиеся подошли к священнику. Но пальцы невесты, лежавшие в дрожащей ладони жениха, были холодны, а личико мертвенно бледно. За ее спиной зашептались о том, что девушка, похороненная несколькими часами ранее, восстала из гроба, чтобы обвенчаться. Вряд ли бывало другое венчание столь же унылое, как в тот памятный вечер, когда звон колокола возвестил о совершении брака. По окончании обряда Хупер поднял бокал вина, желая счастья молодым в том духе приятной шутливости, который должен был прояснить лица гостей, как веселые отблески огня, разведенного в камине. Но когда пастор поднес бокал к губам, черная вуаль отразилась в стекле, и, увидев, как это выглядит, он проникся тем же ужасом, который испытывали все окружающие. Он содрогнулся всем телом, губы его побелели, нетронутое вино пролилось на ковер. Хупер бросился вон из дома, во тьму. Ибо Ночь уже накинула на землю свою черную вуаль.

На следующий день по всему Милфорду не судачили ни о чем, кроме черной вуали пастора Хупера. Этот предмет, а также тайна, которую он скрывал, обеспечил тему для всестороннего обсуждения приятелям, встретившимся на улице, и кумушкам, выглядывающим из окон. Трактирщик преподносил эту историю посетителям как главную новость дня. Дети болтали о ней по дороге в школу. Один изобретательный чертенок вздумал закрыть лицо старым черным платком, чтобы напугать однокашников, но при этом и сам перепугался до полусмерти от собственной шалости.

Примечательно, что ни один из хлопотунов и записных нахалов прихода не осмелился прямо спросить у Хупера, зачем он так себя ведет. До сих пор у него не было недостатка в советчиках по малейшему поводу, и обычно он прислушивался к их мнениям. Он вряд ли ошибался в своих суждениях, но обладал настолько острым недоверием к себе самому, что даже самая легкая критика заставляла его видеть в рядовом проступке преступление. Прихожанам эта его прощительная слабость была отлично известна. И все же ни единому человеку в округе не пришло в голову сделать пастору дружеское внушение по поводу черной вуали. Всех останавливал страх – его не выражали открыто, но и скрыть полностью не могли, а потому каждый перекладывал ответственность на другого, пока наконец не надумали направить к мистеру Хуперу делегацию духовенства, чтобы поговорили с ним об этой тайне, прежде чем та переросла в скандал.

Однако посольство потерпело сокрушительную неудачу. Священник принял коллег вежливо, по-дружески, но, когда все расселись, он умолк, переложив на плечи посетителей бремя начала тяжелого разговора. Причина визита ясна была и без объяснений. Черная вуаль все еще обвивала лоб Хупера и скрывала все черты, кроме его мягких губ. Изредка можно было заметить, как они складывались в слабую меланхолическую улыбку. Однако присутствующие могли бы утверждать, что этот лоскут крепа заслоняет от них сердце несчастного, являя собою символ той устрашающей тайны, что отделила его от людей. Если бы он сбросил вуаль, с ним заговорили бы прямо. Иначе не получалось. Посему они просидели долгое время в смятении душевном, безмолвствуя и пытаясь уклониться от пристального взгляда Хупера, который они ощущали, хотя видеть не могли. В конце концов удрученная делегация удалилась ни с чем и, вернувшись к своим избирателям, объявила, что дело слишком сложное, разобраться в нем мог бы разве что совет представителей многих церквей, а то и всеобщий синод созвать потребуется.

Во всем селении лишь одна особа не поддавалась тому жуткому чувству, которое черная вуаль наводила на остальных жителей. Когда церковники вернулись, не добыв никакого объяснения, и не осмелились даже потребовать его, эта особа со всем свойственным ей тихим упорством решила разогнать то темное облако, что сгушалось вокруг мистера Хупера, час от часу становясь все мрачнее.

Ее звали Элизабет; она была помолвлена с пастором, готовилась вскоре стать его женой и потому считала себя вправе узнать, что скрывает черная вуаль. Как только пастор пришел навестить ее, она приступила к разговору просто и прямо, что облегчило ситуацию для них

обоих. Усадив гостя в кресло, она села напротив и пристально рассмотрела пресловутую вуаль, но не увидела ничего такого, что могло бы навеять тот жуткий мрак, который столь сильно пугал толпу; это была всего лишь сложенная вдвое полоска крепа, свисающая со лба на щеки, – она позволяла видеть рот Хупера и слегка колыхалась от его дыхания.

– Нет, – громко сказала она и улыбнулась, – ничего нет ужасного в этом куске крепа, хотя он и скрывает лицо, на которое я всегда смотрю с удовольствием. Давайте же, мой добрый друг, разгоним тучи и вернем солнце на небо. Сперва снимите эту вашу вуаль, а потом поведайте мне, зачем вы ее надели.

Хупер слабо улыбнулся.

– Настанет однажды час, – сказал он, – когда всем нам придется сбросить вуали. Я прошу вас не сердиться, мой милый друг, если я буду носить этот покров из крепа до того момента.

– Ваши слова также таинственны, – ответствовала юная леди. – Снимите покров хотя бы с них, по меньшей мере.

– Я постараюсь, Элизабет, – сказал он, – насколько это допускает данный мною обет. Знайте же, что эта вуаль есть знак и символ, и я обязан носить ее вечно, на свету и в темноте, в одиночестве и пред лицом толпы, при незнакомцах и при близких друзьях. Ни единому смертному не дозволено увидеть меня без вуали. Эта мрачная завеса должна отделить меня от мира. Даже вы, Элизабет, никогда не заглянете за нее!

– Какое же несчастье так удручило вас, – серьезно спросила девушка, – что вы решили навеки затмить таким способом свой взор?

– Все знают, что это знак траура, – ответил Хупер, – а у меня, как, полагаю, у большинства смертных, есть достаточно причин для скорби, чтобы обозначить их черной вуалью.

– А если мир не поверит, что это есть выражение общей невинной скорби? – не отступала Элизабет. – Вас любят и уважают, но люди не могут не подумать, что вы прячете лицо из-за какого-то тайного греха. Шепчутся уже. Ради святости вашего сана, прошу вас, устранили повод для скандала!

Щеки ее заалели, когда она намекнула на характер слухов, которые уже широко разошлись по селению. Но обычная мягкость не оставила Хупера. Он даже улыбнулся еще раз – той самой улыбкой, которая всегда казалась светлым бликом, отблеском света, мерцающего из-под вуали.

– Если я испытываю скорбь, это уже достаточная причина, – просто ответил он. – Но если я тем самым скрываю тайный грех, кому из смертных не потребовалось бы сделать то же самое?

И дальше он продолжал с тихим, но непреодолимым упорством сопротивляться ее уговорам. Наконец Элизабет умолкла и задумалась. Возможно, она изыскивала новые способы, чтобы избавить своего суженого от столь мрачной фантазии, каковая, если у нее не имелось иного смысла, могла быть признаком душевного заболевания. Характер у девушки был потверже, чем у Хупера, и все-таки слезы покатались по ее лицу. Но через мгновение новое чувство вытеснило печаль из сердца Элизабет; черный покров притянул ее взгляд, и будто сумерки внезапно окутали девушку: она ощутила наконец ужас, навеваемый вуалью. Она вскочила и, дрожа, приблизилась к пастору.

– А-а, теперь и вас проняло, верно? – удрученно сказал он.

Она не ответила, но прикрыла глаза ладонью и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Он бросился к ней и схватил за руку.

– Будьте терпеливы со мною, Элизабет! – отчаянно вскричал он. – Не покидайте меня, хотя эта вуаль и должна остаться между нами, пока мы пребываем в земной юдоли. Будьте со мною, и там, в иной жизни, не будет никакого покрова на лице моем, никакой тьмы между нашими душами! Эта вуаль – лишь для бренного мира, не для вечности! О! Вы не знаете, как я одинок и как мне страшно пребывать в одиночестве под моей черной вуалью. Не покидайте меня навсегда в этой тьме отверженности!

- Поднимите вуаль хотя бы единожды и посмотрите мне в лицо, – попросила она.
- Ни за что! Это невозможно! – ответил Хупер.
- Тогда прощайте! – сказала Элизабет.

Она высвободила свою руку из его пальцев и медленно пошла прочь; у двери она остановилась, чтобы еще раз взглянуть на него, и содрогнулась, почувствовав, что почти проникла в тайну черной вуали. Хупер страдал; но даже и в тот момент он улыбнулся, подумав, что лишь вещественная преграда отделила его от счастья, хотя те ужасы, которые она скрывала, погрузили бы во тьму и самую нежную любовь.

С тех пор никто больше не пытался снять с мистера Хупера вуаль или напрямую добиться правды о той тайне, которую она, по общему мнению, скрывала. Люди, претендовавшие на то, что стоят выше простонародных предрассудков, считали вуаль эксцентрической причудой, какие зачастую позволяют себе в целом разумные, рассудительные личности, что делает их лишь внешне похожими на безумцев. Но в глазах толпы Хупер необратимо сделался пугалом, букой. Ему не удавалось пройти спокойно по улице, ибо не мог он не замечать, как добрые и робкие сворачивают в сторону, чтобы не столкнуться с ним, а другие выхваляются тем, как смело пошли ему навстречу. Подобные дерзкие выходки вынудили пастора отказаться от привычки прогуливаться на закате дня по кладбищу. Стоило ему только в задумчивости остановиться у ворот, как тотчас из-за могильных камней высовывались головы зевак, чтобы поглазеть на его черную вуаль. Они же пустили в оборот сказочку о том, что Хупера прогнали с кладбища взгляды покойников. Глубочайшее горе причиняли его доброму сердцу дети, которые бросали самые веселые свои забавы и разбежались, лишь завидев издали его приближение. Инстинктивный испуг малышей сильнее, чем что-либо другое, заставлял его чувствовать, какой сверхъестественной жутью пропитана черная ткань его вуали. Надо заметить, что пастор и сам испытывал великое отвращение к своей вуали. Прихожане это хорошо знали: он старался не проходить мимо зеркал и даже остерегался пить из водоемов, на гладкой поверхности которых могла отразиться его внешность, – ибо всякий раз это потрясало его до глубины души. Наблюдения такого рода придавали правдоподобие домыслам, что совесть Хупера терзает память о некоем совершенном им преступлении, слишком ужасном, чтобы признаться в нем прямо или скрыть его полностью, и потому несчастный ограничивается этим темным намеком. Так получалось, что черная вуаль набрасывала тень на белый день, не позволяя различить, где горе, а где грех, и завеса подозрений окутывала бедного священника, не пропуская ни единого лучика любви или сочувствия. Поговаривали, будто некий призрак и враг рода человеческого заключили с ним союз. Терпя муки душевные и страдая от неприязни окружающих, он постоянно жил в потемках, блуждая на ощупь в лабиринтах собственной души; переплет темных нитей одевал для него в траур весь мир. Даже своенравный ветер, как утверждали люди, соблюдал мрачную тайну и не осмеливался сорвать вуаль. Но добрый пастор Хупер по-прежнему печально улыбался, видя вокруг себя бледные лица суетной толпы.

Впрочем, нет худа без добра! Черная вуаль напрочь испортила жизнь Хупера, но она же пошла на пользу его священническому служению. Благодаря этому таинственному символу – ибо иной очевидной причины не было – он обрел невероятную власть над теми душами, которые терзались своими грехами. Те, кого ему удавалось наставить на путь истинный, глядя на него, всегда испытывали то же смятение, что вызывали у них собственные проступки. Они утверждали, конечно в иносказательном смысле, что, прежде чем он привел их к свету божественному, они находились вместе с ним под черной вуалью. Наводимый ею мрак и в самом деле позволял пастырю сочувствовать всем темным страстям. Умиравшие грешники звали к мистеру Хуперу и не желали испускать последний вздох, пока его не будет рядом. И все же каждого из них пробирала дрожь, когда священник склонялся, чтобы прошептать слова утешения; им страшно было видеть скрытое тканью лицо так близко от своего. Таков был ужас, веявший от черной вуали даже в момент, когда Смерть срывает все покровы! Порою люди

приходили издалека, чтобы побывать в церкви на его службе с единственным праздным желанием поглазеть на его фигуру, раз уж на лицо смотреть запрещено. Но многие уходили домой преображенными! В те дни, когда краем нашим управлял губернатор Белчер, Хупера как-то назначили провести службу на церемонии избрания. Он предстал со своею вуалью перед высоким начальством, советниками и представителями общин, и произвел на них столь глубокое впечатление, что все законодательные акты того года отличались благочестием и суровостью, напоминающими о временах наших предков.

В таких трудах Хупер провел долгую жизнь. Все его поведение, все поступки были безупречны, но облако темных подозрений вокруг него так и не развеялось; он был добрым и любящим, но его не любили и смутно боялись. Он существовал осторонь от людей; здоровые и счастливые его чурались, но те, кого настигала смертельная тоска, сразу призывали его на помощь. Год за годом уходил в небытие, припорошив белым снегом голову пастора над траурной полосой вуали, и мало-помалу он прославился по всем церквям Новой Англии. Его звали теперь отец Хупер. Почти все те прихожане, которые были взрослыми, когда он прибыл в Милфорд, один за другим отправились на покой во главе похоронных процессий; на его службы в церковь приходило много людей, но на кладбище за церковью их было гораздо больше. Долгие дни трудов миновали, настал поздний вечер; пришел час отдохнуть и отцу Хуперу.

Свечи в комнате, где умирал старый священник, были прикрыты экраном, и в их неярком свете он мог различить несколько лиц. Родственников у него уже не осталось. Но здесь был врач – серьезный, как приличествовало в данных обстоятельствах, однако невозмутимый, – который знал, что не сможет спасти пациента, и стремился лишь облегчить его боль. Здесь же были и дьяконы, и другие клирики выдающегося благочестия. Присутствовал и преподобный мистер Кларк, из соседнего Уэстбери, молодой и рьяный богослов, который примчался верхом, чтобы успеть помолиться у ложа умирающего собрата. И наконец, здесь была сиделка. Не наемная служительница смерти, нет; но та, чья тихая любовь втайне сберегалась все эти годы в одиночестве, неподвластная холодному веянию старости, и не угасла бы даже в ее смертный час. Не кто иная, как Элизабет! В этом окружении покоилась на подушке седая голова доброго отца Хупера, неизменно обвитая черной вуалью, закрывающей лицо. Он дышал слабо, с трудом, и тонкая ткань едва колыхалась. Целую жизнь этот лоскут крепа заслонял ему весь мир; он отделил его от радостей дружбы и от любви женщины, он заключал его в печальнейшей из тюрем – в его собственной душе; и в этот час он все еще скрывал его лицо, отчего затемненная комната казалась еще темнее, и даже сияние вечности не пробилось бы сквозь эту завесу.

В предыдущие дни сознание старика было затуманено, он не мог отличить прошлое от настоящего, все смешалось в его мыслях, а порой они уносились вперед, к неизвестности, ожидающей его по ту сторону жизни. Случались и приступы лихорадочного бреда, когда он метался из стороны в сторону, растрчивая те немногие силы, что еще у него оставались. И все же ни судорожные припадки, ни самые необузданные фантомы, создаваемые его разумом, уже не способным удержать ни одну трезвую мысль, не заставили его отказаться от упорного желания сохранить вуаль на лице. Но на случай, если бы потрясенная душа его оплошала, рядом находилась преданная женщина, которая, будь в этом нужда, зажмурившись, вновь прикрыла бы старческое лицо, виденное ею в последний раз в расцвете молодости. Наконец одолеваемый смертью старик затих, исчерпав все силы своего тела и духа. Пульс его был едва уловим, дыхание становилось все слабее, и долгие, глубокие, неровные вздохи предвещали скорый отлет его души.

Священник из Уэстбери приблизился к его постели.

– Почтенный отец Хупер, – сказал он, – миг вашего освобождения близок. Готовы ли вы к снятию завесы, что отделяет скоротечное время от вечности?

Отец Хупер ответил сперва простым движением головы; затем, осознав, по-видимому, что этот слабый кивок могут понять неправильно, с трудом, еле слышно проговорил:

– Да. Усталая душа моя терпеливо ждет, когда завеса будет снята.

– Так пристало ли, – продолжил преподобный мистер Кларк, – человеку, столь преданному молитве, подавшему пастве безупречный пример, человеку святому и в деяниях, и в помыслах, насколько могут судить смертные... пристало ли одному из отцов церкви оставить после себя тень, которая может зачернить жизнь столь чистую? Молю вас, достопочтенный брат мой, не допустите подобной ошибки! Доставьте нам радость, дайте увидеть ваш облик, когда вы воспарите к ждущей вас награде. Прежде чем вечность раскроется перед вами, позвольте мне снять черную вуаль с вашего лица!

С этими словами преподобный Кларк нагнулся, чтобы обнажить тайну, скрывавшуюся долгие годы. Но отец Хупер внезапно обрел силы, что потрясло всех присутствующих: выпростав обе руки из-под одеяла, он крепко ухватился за свою вуаль, полный решимости сопротивляться, если пастор из Уэстбери вздумает бороться с умирающим.

– Ни за что! – вскричал старый священник. – На земле – никогда!

– Скрытней старик! – воскликнул испуганный пастор. – С каким же ужасным преступлением на душе отправляешься ты на высший суд?

Дыхание отца Хупера участилось; воздух клокотал у него в горле; но, протянув вперед руки могучим усилием, он сумел удержать уходящую жизнь на те несколько минут, что он хотел говорить. Он даже приподнялся в постели и сел; он дрожал, ощущая прикосновение смерти, а черная вуаль, особо жуткая в этот последний миг, тяжело легла ему на лицо, будто пропитанная всеми ужасами прожитой жизни. И все же слабая, печальная улыбка, столь часто мелькавшая из-под складок, снова появилась на губах отца Хупера, как лучик света во мгле.

– Почему вы тревожитесь за меня одного? – вскричал он, обведя взглядом из-под вуали круг бледных лиц. – Тревожьтесь также и за каждого из вас. Неужто мужчины избегали меня, и женщины не выказывали жалости, и дети разбегались с воплями только из-за этой черной вуали? Что, кроме тайны, смутно обозначенной ею, могло сделать этот кусок ткани столь ужасным? Если в сем мире друг открывает своему другу сокровеннейшие помыслы своего сердца, если любящий мужчина до конца доверяет любимой женщине; если люди правы, считая возможным скрывать от взора Создателя свои грехи, накапливая их отвратительными грудками в глубинах души, тогда назовите меня чудовищем, во имя символа, в тени коего я жил, и умрите! Я озираюсь сейчас вокруг себя. И что же? На каждом, каждом лице вижу я черную вуаль!

Слушавшие его отшатнулись друг от друга в испуге, а отец Хупер упал на подушки уже мертвым, но с прежней улыбкой на устах. Снять вуаль никто не решился; с нею уложили его в гроб и так, под вуалью, снесли на кладбище.

Много раз прорастали и увядали травы на его могиле, надгробный камень оброс мхом, и лицо доброго пастыря Хупера обратилось в прах; но и доселе становится страшно при мысли, что истлело оно под Черной Вуалью!

*Перевод Алины Немировой*



## Генри Джеймс



Генри Джеймс (1843–1916) – признанный классик мировой литературы. Немногие из современников смогли оценить удивительный дар по достоинству – статус классика ему присвоили потомки. Он был настоящим мастером психологической прозы, виртуозным стилистом и смелым экспериментатором, разрабатывал новые повествовательные приемы, вполне органично усвоенные затем изящной словесностью XX века. Многие (и справедливо!) считают писателя предтечей модернизма. За полвека литературного творчества он написал два десятка романов, больше сотни рассказов и повестей, полтора десятка пьес. И это не считая массы статей и эссе, путевых заметок, авторских предисловий, писем. «Генеральная» тема творчества – культурный диссонанс Старого и Нового Света. Он исследовал его с поразительной и изощренной настойчивостью: в произведениях Джеймса непосредственные и наивные американцы раз за разом сталкиваются с коварством и интеллектуальным превосходством Европы и неизменно терпят поражение. Разумеется, в этом было много личного: американец по рождению, он ощущал себя чужеродным в «грубой» и практичной Америке и потому выбрал Старый Свет, где прожил большую часть жизни и написал большую часть своих произведений.

Генри Джеймс родился в Нью-Йорке, в семье религиозного философа Генри Джеймса-старшего. Тот унаследовал значительное состояние, а потому сумел дать детям превосходное образование (кстати, старший брат писателя – знаменитый психолог и философ Уильям Джеймс). Генри Джеймс-младший учился в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Женеве, окончил Гарвардский университет. В последнем он изучал право, но пришел к решению не связывать себя этой профессией юриста, а заняться литературой. Писать рассказы и печататься он начал еще в студенческие годы, а первый роман («Родерик Хадсон») опубликовал в 1876 году. Тогда же к нему пришло решение покинуть США и обосноваться в Англии. Более двадцати лет прожил в Лондоне, в 1898 году приобрел загородный дом – Лэм-Хаус в городке Рай в графстве Суссекс. Здесь были написаны его поздние произведения, в том числе знаменитая повесть «Поворот винта» (1898), которая считается одним из шедевров литературы о сверхъестественном. Разумеется, Г.Ф. Лавкрафт не мог пройти мимо этого текста и с восторгом отзывался о нем в своем эссе «Ужас и сверхъестественное в литературе», числил писателя среди своих учителей.

*А. Б. Танасейчук*

## Поворот винта

Мы слушали рассказ затаив дыхание, однако кроме тривиального замечания, что он страшен, как и положено странной истории, рассказываемой у камина в старом доме в канун Рождества, я не помню, чтобы кто-то его комментировал, пока не было сказано, что это пока единственный случай, когда видение явилось ребенку. Могу уточнить, что случай имел место в таком же старом доме, как тот, где мы собрались; призрак, ужасный на вид, явился маленькому мальчику, который спал в комнате рядом с матерью и, в диком испуге, разбудил ее; прежде чем ей удалось успокоить сына и уговорить вернуться в постель, она сама была поражена тем же видением, которое его потрясло.

Именно это сообщение побудило Дугласа – не сразу, но позже вечером – кое-что добавить, и это привело к интересным последствиям, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Кто-то начал рассказывать не слишком складную историю, и я видел, что мой друг не слушает. Из этого я сделал вывод, что он сам собирается поведать нечто, и нам следует лишь подождать. Полного рассказа мы, правда, дождались лишь спустя два дня; но в тот вечер, когда мы уже собрались расходиться, он высказал то, что было у него на уме.

– Касательно явления призрака, по описанию миссис Гриффин, или как там его называть, маленькому мальчику я вполне согласен, что это случай специфический. Но мне известно, что это не первая история в том же очаровательном духе, с участием ребенка. Если наличие дитяти усиливает эффект, так сказать, на оборот винта, что скажете насчет двоих детей?

– Конечно же, – воскликнул кто-то, – мы скажем, что это взвинчивает нас на два оборота! И мы хотим услышать про них.

Как сейчас вижу Дугласа, стоящего перед камином, к которому он повернулся спиной, держа руки в карманах и глядя сверху вниз на собеседника.

– Никто, кроме меня, до сих пор даже не слышал о них. История слишком жуткая.

Естественно, тут же раздались голоса, утверждающие, что подобные истории чрезвычайно ценны, и наш друг, умело подготовив таким образом свой триумф, обвел взглядом всю компанию и добавил:

– Нечто из ряда вон выходящее. Все прочее, что мне известно, до этого не дотягивает.

Помню, я спросил: «Потому что страшно?» Он, кажется, ответил, что там все не так просто, но он затрудняется дать точную характеристику. Прикрыв глаза ладонью, он страдальчески поморщился.

– Потому что ужасное – ужасает!

– О, как изящно! – воскликнула одна из женщин.

Дуглас не обратил на нее внимания; он смотрел на меня так, будто видел на моем месте предмет своего рассказа.

– Вообще-то там сверхъестественные уродство, жуть и боль.

– Отлично, – сказал я, – теперь садись и начинай.

Он повернулся к огню, пнул ногой поленце, уставился на него и потом снова обернулся к нам.

– Не могу начать. Мне придется послать за кое-чем в город.

Раздался единодушный стон публики, посыпались упреки; выждав с озабоченным видом, Дуглас объяснил:

– Эта история существует в письменном виде. Лежит в запертом ящике, ее не доставали много лет. Я могу написать своему камердинеру и переслать ключ; он пришлет сюда пакет, как только найдет рукопись.

Похоже, он предложил это специально для меня – чуть ли не взывал к моей срочной помощи. Он, понимаете ли, разбил толстый слой льда, наросший за много зим; у него были

причины так долго хранить молчание. Других отсрочка огорчила, но меня его щепетильность очаровала. Я уговорил его отправить письмо с первым же почтальоном и согласовать с нами время слушания; затем я спросил, было ли это переживание его личным. На это он ответил сразу:

– О нет, слава богу, нет!

– А запись? Это ты зафиксировал историю?

– Нет, только впечатление. Я зафиксировал его здесь, – он похлопал себя по сердцу. –

И не потерял.

– Значит, эта рукопись?..

– Старая бумага, выцветшие чернила и прекраснейший почерк. – Дуглас снова повернулся к огню. – Женский. Она умерла двадцать лет назад. Перед смертью прислала мне эти листки.

Теперь все слушали внимательно, и, конечно же, нашелся желающий подшутить или хотя бы сразу сделать выводы. Но, хотя Дуглас воспринял эти намеки без улыбки, он и раздражения тоже не выказал.

– Это была прелестная особа, но на десять лет старше меня. Она была гувернанткой моей сестры, – сказал он тихо. – Более приятной женщины на этом посту я не встречал; да она была достойна любого другого. Давно это было, а тот эпизод – еще гораздо раньше. Я учился в Тринити-колледже и познакомился с нею дома, когда приехал летом после второго курса. Я тогда долго пробыл – лето выдалось чудесное; и в ее свободные часы мы иногда прогуливались по саду и беседовали, и я дивился тому, какая она умная и милая. О да, не ухмыляйтесь: она мне очень нравилась, и мне до сего дня приятно думать, что и я ей нравился тоже. Иначе она ничего бы не рассказала мне. До того она никому не рассказывала. И не в том дело, что она так утверждала, а в том, что я ей верил. Я не сомневался, все было очевидно. О таких вещах легко судить, когда слышишь.

– И все потому, что история была столь страшной?

– О таких вещах легко судить, – повторил он, не сводя с меня глаз. – Тебе будет легко.

– Понимаю, – я тоже смотрел на него в упор. – Она была влюблена.

Тут он впервые рассмеялся.

– Ты и впрямь сообразителен. Да, она была влюблена. То есть, раньше была. Это раскрылось... Не могло не раскрыться, когда она рассказала. Я понял, и она увидела, что я понял; но мы об этом не заговорили. Я помню, когда и где это произошло – в уголке лужайки, в тени больших букв, долгим, жарким летним днем. Неподходящая декорация для страшных историй, но... Ох!

Он оставил наконец камин в покое и погрузился в свое кресло.

– Ты получишь пакет утром в четверг? – спросил я.

– Думаю, не раньше второго срока доставки почты.

– Ну хорошо. Значит, после обеда...

– Вы все хотите встретиться со мной здесь? – Он снова оглядел собравшихся. – Никто не уедет? – В его тоне сквозила натуральная надежда.

– Все остаются!

– Я! И я тоже! – восклицали леди, которые только что назначали время своего отъезда.

Однако миссис Гриффин заявила, что нуждается в некоторых разъяснениях.

– Кого же она любила?

Я позволил себе ответить:

– Из истории это станет ясно.

– О, как не терпится ее услышать!

– Из истории это ясно не станет, – поправил Дуглас, – во всяком случае не в буквальном, вульгарном смысле.

– Очень жаль. Мне без этих подробностей бывает трудно понять.  
– Неужели вы не скажете, Дуглас? – спросил кто-то еще.  
– Да... Завтра, – он снова вскочил на ноги. – Сейчас я должен лечь спать. Спокойной ночи!

Быстро схватив подсвечник, он вышел, оставив нас в некотором недоумении. С нашего конца большого, обшитого темным деревом зала было слышно, как он поднимается по лестнице; и тогда миссис Гриффин произнесла:

- Ну, если я и не знаю, в кого она была влюблена, в кого он – понятно.
- Она была на десять лет старше, – напомнил ее муж.
- *Raison de plus*<sup>10</sup> – в таком возрасте! Но так долго скрывать – это красиво!
- Сорок лет! – вставил Гриффин.
- И наконец – эта откровенность!
- Эта откровенность, – возразил я, – станет огромным событием вечером в четверг.

Все согласились со мной и, в предвкушении, мы потеряли интерес ко всему прочему. Предыдущая история была неполной, рассчитанной на продолжение, но на сегодня все уже было рассказано; и мы, «рукопожавшись», как выразился кто-то, и снабдившись свечами, разошлись по спальням.

На следующий день я узнал, что письмо со вложенным ключом отправилось с утренней почтой в лондонскую квартиру Дугласа; вскоре об этом стало известно всем, но, несмотря на это – или, пожалуй, именно из-за этого, – мы его не тормошили, пока не отобедали, и настал тот вечерний час, который лучше всего подходил для тех эмоций, которые мы надеялись испытать. Тут он сделался общительным, всем на радость, и даже объяснил почему. Мы услышали это от него в том же уголке зала перед камином, где накануне высказывали наши тихие восторги.

Выяснилось, что для лучшего понимания текста, который он обещал прочесть, необходим краткий пролог. (Здесь позвольте мне четко сказать, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться, что ниже я привожу точную копию текста, снятую мною гораздо позже. Бедный Дуглас, когда почувствовал приближение своего смертного часа, вручил мне ту самую рукопись, которую получил тогда на третий день, а на четвертый, на том же месте, начал читать нашему притихшему кружку, доставив нам неизмеримое впечатление.)

Леди, которые говорили, что не уедут, все-таки, слава небесам, уехали: ведь их ждали в других местах; уезжая, они страдали, по их словам, от неутоленного любопытства, которое Дуглас уже успел в нас разжечь. Но в результате оставшаяся у очага публика лишь стала отборной, более сплоченной, и всех нас объединили острые переживания.

Дуглас сразу же зацепил нас, заявив, что письменное повествование начиналось не с того момента, когда история началась. Поэтому нам следовало узнать, что его давняя приятельница, будучи младшей из нескольких дочерей бедного деревенского vicar, в возрасте двадцати лет, готовая приступить к службе в классной комнате, прибыла в Лондон, трепеща в ожидании личной встречи с человеком, с которым уже кратко общалась письменно по поводу данного им в газете объявления о найме. Он обитал на Харли-стрит<sup>11</sup>; дом впечатлил девушку своими размерами и солидностью, а когда она предстала перед возможным работодателем, ожидая его решения, он оказался настоящим джентльменом, холостяком в самом расцвете лет, – такой фигуры негде было увидеть трепещущей, встревоженной девушке из гэмпширского vicar, разве что во сне или в старинном романе. Вы легко можете представить его себе; этот тип, к

---

<sup>10</sup> Тем более (франц.).

<sup>11</sup> Харли-стрит (Harley Street) – улица в Лондоне, названная по имени аристократа Эдварда Харли, владевшего этим участком города до 1715 г. В XIX веке получила известность благодаря множеству обосновавшихся на ней специалистов различных областей медицины. Часто упоминается в детективной литературе. Однако наплыв медиков на Харли-стрит начался лишь во второй половине века, около 1860 г., а до того там проживали преимущественно богатые господа, в том числе многие знаменитые политики и ученые, так что наниматель нашей учительницы – несомненно весьма высокопоставленная особа.

счастью, не вымирает. Он был красив, самоуверен, и любезен, и небрежен, и весел, и добр. Он неизбежно должен был потрясти девушку своей галантностью и великолепием, но больше всего ее увлекло то, что наем на службу он оформил в виде просьбы об одолжении, об услуге, которую он принял бы с благодарностью. На этой основе окрепло и мужество, впоследствии проявленное ею. Она осознавала, что джентльмен богат и опасно экстравагантен, но, видя его в ореоле модной одежды, красоты, дорогостоящих привычек и обворожительных манер, не стала задумываться. У него был собственный особняк в городе, набитый сувенирами путешествий и трофеями охоты; но он хотел, чтобы она немедленно отправилась в его загородный дом, старинную фамильную усадьбу в Эссексе.

Выяснилось, что недавно этот господин стал опекуном маленьких племянника и племянницы, после смерти их родителей в Индии, – детей младшего брата, военного, которого он потерял два года назад. Так странно сложились обстоятельства: для него, неженатого, не имеющего ни нужного опыта, ни капли терпения, эти дети стали тяжелым бременем. Много было хлопот, и он, несомненно, допустил ряд ошибок, но ему ужасно жаль бедных птенчиков и он сделал все, что смог; в частности, отправил их в тот дом, ведь им, конечно же, нужен свежий воздух, и обеспечил их, с самого начала, наилучшим уходом, расставшись ради этого с собственными слугами; сам он при первой же возможности приезжает навестить их и узнать, как идут дела.

Большое неудобство заключалось в том, что у детей практически не было других родственников, а у дядюшки дела отнимали все время. Он записал на их имя поместье Блай, в здоровой и безопасной местности, и поставил во главе их маленького хозяйства превосходную женщину, бывшую горничную его матери, миссис Гроуз, которая непременно его гостье понравится. Она теперь назначена экономкой, но ее права не простираются выше первого этажа<sup>12</sup>; она только временно присматривает за девочкой, к которой, по счастью, не имея собственных детей, душевно привязана. В доме много прислуги, но, разумеется, юной леди в чине гувернантки будет принадлежать верховная власть. Во время каникул ей нужно будет также присматривать за мальчиком, который вернется из школы, – он, верно, маловат для учения, но что еще можно было придумать? Каникулы скоро начнутся, и он приедет со дня на день. Поначалу обоими детьми занималась молодая леди, весьма уважаемая особа, она справлялась с ними отлично, но, увы, мы ее потеряли. Ее смерть была весьма некстати, и у него не осталось иного выбора, как отправить малыша Майлса в школу. С тех пор миссис Гроуз делала для Флоры все, что в ее силах, касательно манер и прочего; еще в доме имелись кухарка, горничные, молочница, старый пони, старый конюх и старый садовник, все вполне уважаемые.

Когда Дуглас дошел до этого момента, кто-то спросил:

– А отчего умерла предыдущая гувернантка, при всей ее уважаемости?

– Это будет объяснено далее. Я не хочу забежать вперед, – сразу ответил наш друг.

– Простите, мне показалось, вы именно это и делаете.

– На месте новой кандидатки, – вставил я, – я бы захотел узнать, не связана ли служба

там...

---

<sup>12</sup> Место действия новеллы – классическая английская усадьба со всеми характерными элементами: двухэтажный особняк с башнями «под старину», намекающими на древность рода владельцев, с лужайкой и террасой, на которую выходят окна нижних, парадных комнат; спальни на втором этаже, обширный парк, имитирующий «дикую природу». Автор подчеркивает социальную дистанцию между героиней и ее учениками, упоминая скромное жилище викария в отдаленном по тем временам графстве Гэмпшир на юго-востоке Англии (около 130 км от столицы), на побережье Ла-Манша, в сравнении с фамильной усадьбой в Эссексе – благоустроенном графстве, которое в наши дни уже граничит на юго-западе с Большим Лондоном. (Еще один контраст!) Уже в 1856 г. территорию Эссекса соединила с Лондоном железная дорога. Поскольку нашей героине пришлось трястись в почтовой карете, время действия рассказа можно отнести к 1840–50 гг. Для богатых усадеб того времени требовалось большое количество обслуживающего персонала, которым руководила экономка, согласно викторианской иерархии занимавшая промежуточную позицию между прислугой и господами. Но в ее подчинении находились только служебные помещения (кухня и пр.) на первом этаже – на втором этаже, в личных покоях господ, ее власть кончалась.

– С опасностью для жизни? – договорил за меня Дуглас. – Она захотела – и узнала. Завтра вы услышите, что она узнала. В тот момент ей, конечно, стало слегка неудобно. Она была молодая, неопытная, нервная, а картину ей нарисовали сложную: серьезные обязанности, узкий круг общения и полное одиночество. Она заколебалась и попросила пару дней, чтобы все обдумать и посоветоваться. Но предложенное жалование основательно превосходило ее скромные мерки, и при второй встрече она, осознав все сложности, согласилась.

Тут Дуглас сделал паузу, и я решил воспользоваться этим, ради интереса компании, чтобы высказать догадку:

– Мораль сей истории, конечно, такова, что великолепный молодой господин соблазнил девушку, и она поддалась.

Дуглас встал и, как вчера вечером, подошел к огню, подтолкнул ногой поленце и постоял с минуту спиной к нам.

– Она виделась с ним лишь дважды.

– Да, но в этом-то и красота ее чувства.

К некоторому моему удивлению, Дуглас вдруг обернулся ко мне.

– В этом и была красота. Приходили и другие кандидатки, которые не поддались. Джентльмен честно рассказал ей о своем затруднении – для нескольких соискательниц условия оказались неприемлемыми. Они попросту пугались. Картина выглядела скучной, странной... и особенно отпугивало главное условие.

– Какое же?

– Гувернантка не должна была беспокоить нанимателя – никогда и ничем: ни обращаться к нему с вопросами, ни жаловаться, ни писать о чем-либо; все вопросы решать самостоятельно, получать деньги от его поверенного, заниматься делом и оставить его в покое. Она пообещала исполнить это условие и потом рассказала мне, что он, избавившись от бремени, обрадованный, взял ее за руку, благодаря за самоотверженность, и на мгновение она почувствовала себя вознагражденной.

– Неужели то была вся ее награда? – спросила одна из дам.

– Они больше не виделись.

– О! – сказала леди; и это был единственный толковый комментарий к услышанному, потому что наш друг немедленно покинул компанию, и только следующим вечером, усевшись в самое удобное кресло в уголке у камина, он раскрыл выцветшую красную обложку тонкого старомодного альбома с золотым обрезом. Вообще-то чтение заняло несколько вечеров, но именно в первый та же леди снова спросила:

– Как вы это назвали?

– Никак.

– О, а я могу назвать! – вставил я. Но Дуглас, не обратив на меня внимания, начал читать, четким выговором как бы вторя на слух красоте авторского почерка.

## I

Первые дни запомнились мне как череда правильных и ошибочных порывов, взлетов и падений, будто на качелях. После того, как я пошла навстречу просьбе нанимателя, я провела в городе пару очень нехороших дней; меня снова одолевали сомнения, я чувствовала, что совершила ошибку. В таком состоянии духа я оставалась на протяжении долгих часов тряски и качки в почтовой карете, которая доставила меня до остановки, куда обещали выслать за мной экипаж из поместья. И я действительно нашла, ближе к вечеру июньского дня, удобную коляску, дожидавшуюся меня. Поездка в этот час прекрасного дня по местности, украшенной всеми прелестями лета, словно дружески приветствующей меня, возобновила запас бодрости в моей душе, и, когда мы въехали на усадебную аллею, новое впечатление послужило мне мери-

лом того, насколько запас этот успел иссякнуть. Думаю, я ожидала или даже опасалась увидеть нечто столь меланхолическое, что открывшаяся мне картина оказалась приятной неожиданностью.

Я помню, как меня порадовал широкий, светлый фасад дома, его раскрытые окна со свежими занавесками и служанки, глядящие из них; помню газон с яркими цветами, и хруст гравия под колесами, и сомкнутые кроны деревьев, над которыми кружили с карканьем грачи на фоне золотого неба. От пейзажа веяло величием, коего лишен был мой скудный родной дом. И тотчас в дверях появилась учтивая особа, держащая за руку маленькую девочку, и приветствовала меня почтительным книксеном, словно хозяйку дома или знатную гостью. На Харлестрит мне было дано гораздо более ограниченное представление об усадьбе, и я восприняла это, помнится, как дополнительный штрих к портрету истинного джентльмена: мой работодатель подумал о том, как я обрадуюсь, получив больше, чем он обещал.

Настроение мое не падало целые сутки, ибо знакомство с ученицей в первые же часы после приезда наполнило меня ликованием. Девочка, стоявшая рядом с миссис Гроуз, оказалась таким очаровательным созданием, что я сразу же поняла, как мне повезло. Красивее ребенка мне видеть не приходилось, и я позже удивлялась, почему опекун не рассказал о ней больше. Спала я в ту ночь мало – возбуждение было слишком велико, и это также меня удивило; сюрпризы усилили ощущение щедрости, с которой меня тут принимали. Просторная, импозантная комната, одна из лучших в доме, большая парадная кровать (почти королевское ложе, на мой взгляд), пышные фасонные драпировки, высокие зеркала, в которых я впервые смогла увидеть себя с головы до ног, – все это, как и многое другое, придавало моей простой службе ореол чрезвычайности.

В частности, с первого же момента меня смущала необходимость завязать с миссис Гроуз определенные отношения; об этом я, признаться, думала довольно уныло в дороге, сидя в карете. И единственным, что могло бы заставить меня насторожиться снова в те первые часы, было поведение экономки: она была слишком довольна моим приездом, эта дородная, простая, обыкновенная, опрятная и здоровая женщина. Не прошло и получаса, как я убедилась, что она, несомненно, так довольна, что старается не выказать этого слишком откровенно. Уже тогда я немного удивилась, зачем бы ей скрывать свою радость, и, если бы пустилась в размышления и подозрения, могла бы почувствовать себя неловко.

Но мне отрадно было думать, что присутствие такого серафического создания, как моя светлая девочка, исключает любые неловкости и сомнения; именно образ ее ангельской красоты, вероятно, и был главной причиной беспокойства, заставившего меня несколько раз вставать до рассвета и бродить по комнате, пытаясь освоиться с ситуацией и представить, что будет дальше; я следила из раскрытого окна за слабыми проблесками летней зари, разглядывала доступные взгляду части дома и прислушивалась в тающем сумраке к щебету первых проснувшихся птиц; один или два раза мне почудились звуки не природные, не вне дома, а внутри. В какой-то момент я почти с уверенностью различила отдаленный и слабый детский плач; потом снова, и я уже сознательно напрягала слух, когда по коридору мимо моей двери прошлестели легкие шаги. Но все это могло быть и игрой воображения, так неотчетливо, что не стоило задумываться, и лишь в свете – или, скорее, во мгле – других, последующих событий эти детали теперь вспомнились мне.

Наблюдать за Флорой, учить, «формировать» ее значило, без сомнения, закладывать основы счастливой и полезной жизни. Мы договорились с хозяйкой первого этажа, что впредь девочка будет при мне и ночью, и ее белую кроватку уже перенесли в мою комнату. Я намеревалась взять на себя всю заботу о ней, и в ту первую ночь Флора в последний раз осталась с миссис Гроуз потому, что мы сочли нужным дать ей время привыкнуть ко мне и побороть естественную робость. Робость была ей свойственна, однако это дитя, самым удивительным образом, храбро и откровенно признавало свой недостаток, без малейшего смущения, с

глубокой и тихой безмятежностью, и в самом деле напоминая Рафаэлевых святых младенцев. Об этом ее свойстве девочке можно было говорить, напоминать – и я уверилась, что вскоре мы поладим. Миссис Гроуз понравилась мне отчасти потому, что я видела, с каким удовольствием она замечает знаки моего восхищения и любования, когда мы садились ужинать при четырех высоких свечах, а между ними весело поглядывала на нас моя ученица, на высоком стульчике и в фартучке, запивая хлеб молоком. Были, разумеется, темы, которые мы могли выразить при Флоре не словами, а только выразительными и восхищенными взглядами либо косвенными, туманными намеками. Мы не должны льстить детям.

– А ваш мальчик? Он на нее похож? Он тоже такой замечательный?

– О, мисс, очень замечательный. Если вам эта по душе... – она застыла с тарелкой в руке и бросила сияющий взгляд на малышку, которая посматривала то на нее, то на меня, и ее небесно-голубые спокойные глазки не выражали ничего, что могло бы смутить нас.

– Итак – если я?..

– То вас точно восхитит юный джентльмен!

– Знаете, я думаю, что для того сюда и приехала – чтобы восхищаться. Боюсь только, – вдруг почему-то добавила я, – что я вообще легко увлекаюсь. Уж как я восхитилась в Лондоне!

– На Харли-стрит? – Я до сих пор помню выражение широкого лица Гроуз при этих словах.

– На Харли-стрит!

– Ну, мисс, вы не первая – да и последней не будете.

– О, я не претендую на звание единственной, – мне удалось рассмеяться. – Так или иначе, мой второй ученик, насколько я поняла, придет завтра?

– Нет, мисс, в пятницу. Он придет, как и вы, почтовой каретой, с сопровождающим, а на остановке его встретит наш экипаж.

Я тут же высказалась в том духе, что будет и правильно, и приятно, и по-дружески, если мы с его сестричкой встретим мальчика на остановке общественного транспорта; эта идея так восхитила Гроуз, что я стала относиться к ее манере речи как к утешительному обещанию – искреннему, слава небесам! – что мы по всем вопросам будем с нею едины. О, она была рада моему приезду!

Мое состояние на следующий день нельзя было, по-моему, считать прямой реакцией на чрезмерные восторги накануне; скорее всего, то была некоторая озабоченность, вызванная лучшим пониманием обстоятельств новой жизни по мере того, как я осознавала их, изучала, рассматривала. Они имели, скажем так, объем и массу, к которым я не была готова и, поставленная перед столь сложной задачей, немножко испугалась, но также и немножко загордилась. Вести уроки в таком возбуждении было немыслимо, и я решила, что прежде всего мне следует всеми доступными способами завоевать доверие девочки, дать ей узнать меня. Поэтому я провела свой первый день с нею на свежем воздухе; мы условились, к ее великому удовлетворению, что она, и только она, покажет мне дом. Флора повела меня шаг за шагом, из комнаты в комнату, от одного секрета к другому, раскрывая их в забавном, приятном стиле детской болтовни; в итоге, спустя полчаса, мы стали задушевными друзьями.

Меня поразило, что девочка столь малого возраста в этом кратком походе вела себя уверенно и храбро в пустых помещениях и сумрачных коридорах, на винтовой лестнице, где мне пришлось приостановиться, и даже на вершине старинной квадратной башни с зубцами, где голова моя пошла кругом; щебет Флоры, как утренняя песенка птички, ее желание рассказывать больше, чем расспрашивать, – все звенело в моей душе и вело дальше.

После отъезда из Блая я больше там не бывала, полагаю, что, став старше и набравшись знаний, я бы теперь сочла усадьбу гораздо более скромной. Но пока моя маленькая проводница с золотыми локонами, в голубом платье, приплясывая, огибала углы и топотала по коридорам, я видела романтический замок, обитель феи роз, воплощение идеалов молодости, расцве-

ченное всеми красками, взятыми из новелл и сказок. Может, я и впрямь задремала, размечталась над книгой? Нет, этот дом был явью – большой, уродливый, старинный, но удобный дом, с сохранившейся частью строения еще более древнего, наполовину снесенного, наполовину жилого, в котором мое представление о реальности затерялось, словно кучка пассажиров на большом дрейфующем корабле. А я, как ни странно, была у руля!

## II

Эти мысли пришли мне на ум два дня спустя, когда мы с Флорой ехали встречать «маленького джентльмена»; а все потому, что вечером второго дня кое-что сильно встревожило меня. Я уже упоминала, что первый день меня обнадежил; но затем мне довелось ощутить острое беспокойство. В тот вечер почту принесли поздно, и там было письмо для меня от работодателя, правда, всего несколько слов, со вложенным конвертом, адресованным ему самому, с нетронутой печатью. «Я вижу, что это письмо от директора школы, а он ужасный зануда. Прочтите это, пожалуйста, узнайте, что ему нужно; однако не забудьте, что докладывать мне вы не должны. Ни слова. Я отсутствую!» Сломать печать оказалось нелегким делом, такая она была большая, и я долго с ней возилась; наконец я унесла запечатанный конверт к себе и снова занялась им перед отходом ко сну. Лучше было бы оставить его до утра, потому что из-за него я провела и вторую ночь без сна. Наутро, не зная, как быть, я долго мучилась, но наконец, не найдя ничего лучшего, решила обратиться хотя бы к миссис Гроуз.

– Ребенка отправили вон из школы. Что это значит?

Она коротко взглянула на меня, потом постаралась отвести глаза, как будто демонстрируя равнодушие.

– Но разве они не разъезжаются все?..

– Их отправляют по домам, да. Но только на каникулы. А Майлсу велено не возвращаться.

Видя, что я наблюдаю за нею, она покраснела.

– Они его не хотят брать?

– Категорически отказываются.

Она снова взглянула на меня, и я увидела в ее глазах непролитые слезы.

– Что же он натворил?

Я заколебалась, потом сочла правильным просто отдать ей письмо; однако эффект вышел неожиданный: экономка не взяла конверт и, заложив руки за спину, грустно вздохнула.

– Эти штуки не для меня, мисс.

Моя советчица не умела читать! Я постаралась заглядить свою ошибку как смогла и, уже развернув письмо, чтобы прочесть вслух, замялась, снова сложила и спрятала в карман.

– Мальчик действительно плохой?

– А что пишут джентльмены? – Слезы еще блестели на глазах Гроуз.

– Они не вдаются в подробности. Просто выражают сожаление, что принять его не могут. Это может означать только одно, – Гроуз слушала, не проявляя эмоций; она воздержалась от вопроса, что это может означать, но ее присутствие само по себе помогло мне думать, и я, собравшись с силами, сумела найти правильные слова, – что он вредит остальным ученикам.

– Мастер Майлс! – она внезапно, со свойственной простым людям быстротой, вспыхнула. – Он-то вредит?

В ее словах было столько искренней веры, что я, еще не увидев ребенка, желая подавить собственные опасения, охотно поверила в абсурдность такого обвинения. Чтобы поддержать нашу дружбу, я подхватила с иронической интонацией:

– Его бедненьким, маленьким, невинным сотоварищам!

– Это просто ужасно, – вскричала миссис Гроуз, – говорить такие жестокие слова! Подумайте, ему едва исполнилось десять лет!

– Да, да, это невероятно.

Экономка явно была благодарна мне за согласие с нею.

– Вы сперва увидите его, мисс, а потом попробуйте поверить! – Мне тут же захотелось увидеть мальчика; любопытство возникло и в ближайшие часы усилилось почти до болезненности. Я догадалась, что Гроуз поняла, в какое состояние меня повергла, потому что она добавила утешительно: – Это все равно что поверить в такое про маленькую леди, храни ее бог... да взгляните на нее!

Я обернулась и увидела Флору, которую десятью минутами раньше усадила в классной комнате, выдав ей лист белой бумаги, карандаш и пропись с красивыми «круглыми О»; теперь она стояла у открытой двери. На ее личике выражалось сильное нежелание исполнять скучный урок, но смотрела она на меня таким ясным детским взглядом, словно показывала, что лишь ради любви ко мне готова признать необходимость слушаться моих указаний. Не нужно было лучшего доказательства правоты сравнения миссис Гроуз, и я, обняв свою ученицу, стала целовать ее, скрывая слезы раскаяния.

Тем не менее, до конца того дня я искала способы восстановить близость с экономкой, особенно к вечеру, когда мне стало казаться, что она меня избегает. Помню, что столкнулась с нею на лестнице; мы вместе сошли вниз, и там я удержала ее, положив ей руку на плечо.

– То, что вы сказали мне днем... это было заявление, что мальчик при вас никогда не вел себя плохо. Я правильно понимаю?

Гроуз вскинула голову; видимо, к этому времени она заняла, и очень честно, определенную позицию.

– Ох, никогда при мне... За это не ручаюсь!

Я снова расстроилась.

– Значит, что-то все-таки бывало?

– Да, мисс, слава богу, бывало!

Подумав, я ее поняла.

– Вы имеете в виду, что мальчик, который никогда...

– Для меня – не мальчик!

– Вам нравится, когда они шалят? – я сжала ее плечо сильнее и, не дожидаясь ответа, искренне призналась: – Мне тоже! Но не до такой степени, чтобы дошло до осквернения...

– Осквернения?..

Мое книжное слово озадачило ее, и я пояснила:

– До испорченности.

Она уставилась на меня, осваиваясь с сутью моих слов; потом издала странный смешок.

– Вы боитесь, что он испортит вас?

Это было сказано с таким тонким юмором, что я рассмеялась тоже, хотя это и было, конечно, глупо, но обиду за насмешку я отложила на потом.

Однако на следующий день, незадолго до отъезда, я добились успеха в другом вопросе.

– Что представляла собою моя предшественница?

– Превжная гувернантка? Она тоже была молодая и красивая, почти такая же молодая и почти такая же красивая, как вы, мисс.

– Ах, раз так, надеюсь, юность и красота помогли ей! – помнится, вырвалось у меня. – Он, похоже, предпочитает молодых и красивых!

– О да, – согласилась Гроуз, – ему все такие люди нравились! – Она вдруг смутилась и поправилась: – Ну, то есть, такой уж у него вкус, у хозяина.

– Но о ком же вы говорили сначала? – удивилась я.

– Ну, о нем, – она казалась спокойной, но покраснела.

– О хозяине?

– Да о ком же еще?

Было совершенно очевидно, что никого другого она не могла иметь в виду; я сразу же отбросила мимолетное впечатление, что экономка случайно сказала больше, чем хотела, и просто поинтересовалась:

– А она замечала что-либо в поведении мальчика?

– Что-нибудь нехорошее? Она мне ничего не говорила.

Я почувствовала укол совести, но превозмогла его.

– Как она работала? Была ли заботлива, чему уделяла особое внимание?

– Кое-чему – да. – Миссис Гроуз, видимо, старалась судить по совести.

– Но не всему?

– Ну, мисс, ее уж нет, – сказала экономка, снова подумав. – Не хочу языком трепать.

– Вполне понимаю ваши чувства, – поспешила откликнуться я, но решила, что эта уступка не мешает мне продолжить: – Она умерла здесь?

– Нет, она сперва уехала.

Не знаю, почему лаконичный ответ Гроуз показался мне двусмысленным.

– Уехала, чтобы умереть? – Гроуз упорно смотрела в окно, однако я чувствовала, что, вероятно, имею право узнать, каких действий наниматель ожидал от молодых особ, направляемых им в Блай. – Она заболела, вы об этом? И уехала домой?

– Она здесь не болела, во всяком случае, ничего такого не замечали. В конце года собралась домой, сказала – ненадолго, на праздники. Она доказывала, что по контракту это ей положено. У нас тогда работала одна нянька, которая тут оставалась, хорошая девушка и умная; вот она-то и ходила за детьми, пока той не было. Но молодая леди так и не вернулась, и как раз когда я ждала ее приезда, хозяин сообщил, что она умерла.

– Но от чего? – спросила я, подумав.

– Он не объяснил! Ну, простите, мисс, – сказала Гроуз, – мне нужно идти работать.

### III

Хотя она и повернулась, таким образом, спиной ко мне, эта грубая отговорка, к счастью, если учесть справедливость моих опасений, не могла помешать усилению нашего взаимного уважения. После того, как я привезла домой маленького Майлса, мы еще ближе сошлись на почве моего изумления, моих взбудораженных эмоций: таким чудовищным казалось мне тогда то, что кто-то мог подвергнуть интердикту дитя, представшее передо мною.

Я немного опоздала на встречу, и мальчик стоял у дверей гостиницы, где его высадили из кареты, тоскливо поглядывая по сторонам; и при первом же взгляде я не только оценила его внешность, – я почувствовала его душу, восприняла сияющий ореол свежести, то же благоухание чистоты, которое ощутила при первом знакомстве с его сестренкой. Он был невероятно красив, и миссис Гроуз оказалась права: в его присутствии исчезали любые чувства, кроме страстной нежности. Что прямо тогда заставило меня принять его в свое сердце, было божественное свойство, коего в такой степени никогда больше я не встречала ни в одном ребенке – не поддающееся описанию выражение существа, не знающего в мире ничего, кроме любви. Его называли злым, но он весь был – нежность и невинность, и к моменту, когда мы вернулись в Блай, я пришла в состояние замешательства, если не сказать негодования, из-за смысла мерзкого письма, запечатого в ящике моего стола. Как только мне удалось улучшить минутку, чтобы переговорить с Гроуз наедине, я сообщила ей, что письмо это – нелепица. Она сразу поняла меня.

– Вы имеете в виду, что жестокое обвинение?..

– Лживо насквозь. Моя дорогая, вы только взгляните на него!

Она улыбнулась, видя, что я прониклась обаянием мальчика.

– Поверьте, мисс, я только это и делаю! – И тут же добавила: – Что же вы теперь скажете?

– В ответ на письмо? – Это я уже решила: – Ничего.

– А его дяде?

– Ничего, – я была категорична.

– А самому мальчику?

– Ничего! – я была удивительно тверда.

Экономка крепко растерла свой рот краем передника.

– Ну, ежели так, я вся ваша. Мы это переживем.

– Мы это переживем! – подхватила я с жаром, протянув к ней руку, как бы давая обет. Она сделала то же самое, потом свободной рукой снова потерла свой передник.

– Вы не рассердитесь, мисс, если я себе позволю...

– Поцеловать меня? Нет!

Я обняла это доброе создание, мы обнялись, как сестры, и укрепились в нашем негодовании.

Так шли наши дела в течение некоторого времени – времени столь насыщенного, что, вспоминая ныне те дни, мне нужно очень постараться, чтобы сделать прошлое немного отчетливее. Больше всего меня изумляет мое тогдашнее отношение к ситуации. Я взялась, с помощью подружки, замять дело; я была, несомненно, во власти какого-то очарования, скрывавшего от меня объем необходимых усилий, а также их отдаленные и сложные последствия. Страстное увлечение и жалость держали меня на высокой волне. Невежество, смятение и, быть может, самообман... Я считала, что мне не будет трудно воспитывать мальчика, чье знакомство с миром только начиналось.

Уже не могу вспомнить сейчас, какой план касательно окончания каникул и возобновления занятий я предложила Майлсу. В теории все мы понимали тем волшебным летом, что уроки ему мне следует давать; но теперь я думаю, что уроки, целыми неделями, получала я сама. Первое, чему я научилась и чего никто не преподавал в моей прежней узкой, душевной жизни, было умение развлекать и даже самой развлекаться, не задумываясь о завтрашнем дне. По сути, тогда я впервые познала, что такое простор, и воздух, и свобода; я внимала музыке лета и постигала тайны природы. А еще я размышляла, и размышления мои были сладостными.

О, это была ловушка – никем не подстроенная, но глубокая – для моего воображения, моей утонченности, быть может, и для тщеславия; для тех струн моей души, которые легче всего возбуждались. Проще всего будет сказать, что я утратила бдительность. Дети доставляли мне так мало хлопот – они были чрезвычайно кроткими. Порой я все-таки раздумывала, хоть и весьма туманно, бессвязно, о том, как жесткое будущее (будущее всегда жестко!) возьмет их в оборот и сколько причинит боли. Они были в цвету здоровья и счастья; и все же меня не оставляло ощущение, что я отвечаю за двух юных отпрысков знатного дома, принцев крови, для благополучия которых необходимы замкнутость и защита. В моей фантазии единственным возможным будущим для них представлялся романтический, истинно королевский, расширенный вариант сада и парка. Разумеется, весьма возможно, что, после всего внезапно ворвавшегося в эту идиллию, предшествующее время обрело в памяти облик совершенного покоя – той тишины, под покровом которой что-то зреет или прячется. Перемена была подобна прыжку зверя из засады.

В первые недели дни были длинными; часто, в самую приятную пору, они дарили мне то, что я называла «мой час», – час, когда время чаепития и отхода ко сну для моих воспитанников пришло и миновало, и у меня еще оставался короткий промежуток до ухода в свою спальню, чтобы побыть одной. Как ни приятно мне было общество жителей усадьбы, этот час дня я любила больше всего, особенно когда свет дневной угасал, или, я бы сказала, день медлил уходить, и птицы еще перекликались, укладываясь спать в кронах старых деревьев, и небо розовело; тогда я могла прогуляться, наслаждаясь красотой и достоинством парка, как если бы стала его владелицей, что было и забавно, и лестно. В такие моменты мне нравилось чув-

ствовать, что мой покой заслужен, и иногда думать о том, что моя сдержанность, спокойный здравый смысл и прочие высокие качества доставляют удовольствие – если он вообще обо мне вспоминал! – человеку, на чью настоятельную просьбу я поддалась. Я делала то, на что он серьезно надеялся и напрямую предписывал мне, и в конечном счете мне это удавалось, что приносило большую радость, чем я ожидала. Смею сказать, короче, что я воображала себя выдающейся женщиной и тешилась мыслью, что однажды люди это признают. Да, для того, чтобы противостоять особенным событиям, которые вскоре начались, точно требовалось быть особенной личностью.

Это произошло внезапно, во время моего предвечернего отдыха; детей уложили в постель, и я вышла пройтись. Одна из мыслей, посещавших меня при прогулках – я не стану уклоняться от истины, – была, собственно, мечтой: как было бы чудесно, словно в волшебной истории, неожиданно встретить кое-кого. Кое-кто, наверно, появится вон там, на повороте тропинки, он остановится передо мной, улыбнется и похвалит. Я не просила ничего большего – только чтобы он знал; и не было другого способа удостовериться, что он знает, как увидеть его красивое лицо, почувствовать добрый взгляд. И вот я увидела его... то есть лицо...

В первый раз это случилось под конец долгого июньского дня. Я вышла из рощи и резко остановилась, взглянув на дом. Что же заставило меня застыть на месте, потрясенную сильнее, чем от любого видения? То, что воображаемая картина в мгновение ока стала реальностью! Он стоял передо мною на самом деле – но высоко вверху, над газоном, на крыше башни, куда малютка Флора привела меня в первое утро нашего знакомства. Башня была одной из двух – квадратные, неуклюжие, с зубцами поверху, эти строения мало отличались одно от другого, на мой взгляд, но их по какой-то причине именовали «старой» и «новой». Они примыкали к противоположным торцам дома и, видимо, относились к тому разряду архитектурных нелепиц, существование которых оправдывается в какой-то мере тем, что они все-таки не нарушают ансамбль, на особую высоту не претендуют, а их пряничная древность напоминала о периоде романтического возрождения, уже ставшем почтенной стариной. Мне башни нравились, они входили в мои фантазии, потому что их вид шел нам всем на пользу, особенно когда они проглядывали сквозь сумерки, превращая дом в величественную крепость; и все же фигуре, столь часто видевшейся мне, как-то неуместно было стоять на такой высоте.

Вид этой фигуры в прозрачных сумерках вызвал у меня, помнится, два острых всплеска эмоций: шок от первого удивления, а потом – от второго. Второе было реакцией на болезненное осознание первой ошибки: человек, представший перед моими глазами, не был тем, кого я поспешно вообразила. Обман зрения, потрясший меня, был таков, что спустя столько лет я и не надеюсь дать живое представление о нем. Обнаружить незнакомого мужчину в уединенном месте – допустимый повод для испуга молодой женщины, выросшей в узком кругу; а тот, кто смотрел на меня сверху, как я убедилась через несколько секунд, не имел ничего общего ни с кем-либо из моих прежних знакомых, ни с образом, занимавшим мое воображение. Я не видала его на Харли-стрит и нигде вообще.

Более того, самым странным образом, самым фактом своего появления он мгновенно превратил окрестности дома в безлюдную пустыню. Я утверждаю это сейчас с такой определенностью, как никогда прежде, и ощущения того момента возвращаются. Казалось, пока я осознавала то, что могла осознать, все вокруг было поражено смертью. Я и сейчас слышу ту глухую тишину, в которой утонули все вечерние звуки. Грачи уже не каркали в золотом небе, и милый закатный час на мгновение онемел. Других изменений природа не претерпела, разве что я обрела странную остроту зрения. Небо оставалось золотым, воздух – прозрачным, и человек, смотревший на меня сквозь зубцы башни, был виден отчетливо, как картина в раме. С чрезвычайной быстротой я перебрала в уме все предположения, кем он мог быть и кем не мог. Мы стояли друг напротив друга, разделенные расстоянием, достаточно долго, чтобы я напряженно

задумалась над разгадкой и почувствовала, не имея возможности заговорить, удивление, которое вскоре еще усилилось.

Важнейший, или один из важнейших вопросов, как я впоследствии узнала, касательно некоторых явлений, – это вопрос их длительности. Что до моего случая, думайте что хотите об этом, но мне хватило времени перебрать дюжину возможных объяснений, из которых ни одно я не смогла признать лучшим, и допустить, что в доме находится – прежде всего, как долго? – особа, о присутствии коей я не была осведомлена. Явление еще длилось, когда я кое-как сообразила, что мой служебный долг не допускает ни наличия таких особ, ни такой неосведомленности. Оно длилось, и визитер – помнится, в его поведении не было скованности, а отсутствие на нем шляпы намекало на некоторую фамильярность, – казалось, не сходя со своего места, заставлял меня не шевелиться именно тем, что я пыталась найти ответы, вызванные его присутствием, тем, что наблюдала за ним в гаснущем свете дня.

Мы находились слишком далеко друг от друга, чтобы переговариваться, но, подойди я ближе, некий взаимный вызов, нарушающий тишину, стал бы закономерным результатом прямого обмена взглядами. Он стоял на наружном углу башни, не примыкавшем к дому, выпрямившись в рост, как мне показалось, и опираясь руками на выступ стены. Я видела его так же ясно, как буквы, которые вывожу сейчас на этой странице; спустя минуту он медленно, словно усиливая театральность эффекта, переменил позицию – прошел, не спуская с меня жесткого взгляда, к противоположному углу площадки. Да, я очень остро чувствовала, что, перемещаясь, он неотрывно глядел на меня, и я даже сейчас вижу, как его рука в движении касалась одного зубца парапета за другим. На том углу он остановился, но ненадолго, повернулся и ушел, но даже повернувшись, он каким-то образом удерживал меня. Он повернулся и ушел; это было все, что я узнала.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.